

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Феофилактович Писемский

Русские лгуны

«Люди, названные мною в заголовке, вероятно, знакомы читателю. Когда я встречался с ними в жизни, они производили на меня скуку, тоску и озлобление; но теперь, отодвинутые от меня временем и обстоятельствами, они стали дороги моему сердцу. В них я вижу столько национального, близкого, родного мне... Начав с простейших элементов, мне, вероятно, придется перейти и к гораздо более высшим типам. Поле мое, таким образом, широко...»

Содержание

#1	0005
I Конкурент	0007
II Богатые лгуны и бедный	0017
III Кавалер ордена Пур-ле-мерит	0027
IV Друг царствующего дома	0036
V Блестящий лгун	0050
VI Сентименталы	0068
VII История о петухе	0090
VIII Красавец	0096
Примечания «Русские лгуны»	0143

**Алексей Феофилактович
Писемский
Русские лгуны
*Очерки***

Люди, названные мною в заголовке, вероятно, знакомы читателю. Когда я встречался с ними в жизни, они производили на меня скуку, тоску и озлобление; но теперь, отодвинутые от меня временем и обстоятельствами, они стали дороги моему сердцу. В них я вижу столько национального, близкого, родного мне... Начав с простейших элементов, мне, вероятно, придется перейти и к гораздо более высшим типам. Поле мое, таким образом, широко. Я только робею за свои силы, чтобы все эти фигуры отлить из достойного металла, с искусством и точностью, достойными самого предмета, и в этом случае наперед прошу читателя обращать внимание не столько на тех добрых людей, про которых мне придется рассказывать, как на те мотивы, на которые они лгали.

Выдумывая, всякий человек, разумеется, старается выдумать и приписать себе самое лучшее, и это лучшее, по большей части, берет из того, что и в обществе считается за лучшее. Лгуны времен Екатерины лгали совсем по другой моде, чем лгут в наше время. Прислушиваясь со вниманием к тем темам, на ко-

торые известная страна в известную эпоху
лжет и фантазирует, почти безошибочно
можно определить степень умственного,
нравственного и даже политического разви-
тия этой страны. В этом смысле мы придаем
некоторое значение и нашему груду. Начаина-
ем:

I Конкурент

Помнит ли читатель одного из моих действующих лиц, Антона Федотыча Ступицына?[1] Я позволю себе другой раз говорить печатно об этом лице единственно потому, что, начав слово о вралях, решительно нет никакой возможности пройти молчанием Антона Федотыча. В прежнем рассказе моем я его представил в период полного падения, когда его никто уже не слушал, когда он лгал о самых обыкновенных вещах; но для него существовало и другое время: состояние его тогда было далеко еще не в таком расстроенном виде; носимый им довольно странный чин «штык-юнкера в отставке» вовсе, по духу времени, не служил ему таким позором, каким служил впоследствии; врал он во всевозможные стороны самым свободным образом и только еще начинал замечать, что слушатели от него как-то стушевываются.

Антон Федотыч в собрании. Он проходит из буфета в залу, с удовольствием втягивая в

себя запах накуренного одеколона. Публики еще никого нет, и только у колонны стоит молодой человек, Петруша Коробов, закинув голову назад и вообще в довольно отчаянной позе. Антон Федотыч, находя в нем удобную для себя жертву, начинает к нему приближаться, но не вдруг, а исподволь, как обходят обыкновенно охотники дрофу. Сначала он сделал довольно большой полукруг около него, потом поменьше, наконец, в третьем стал уж лицом к лицу с ним.

– Я, кажется, имею удовольствие видеть Петрушу Коробова? – отнесся он к нему, как бы совершенно еще к мальчику.

Антону Федотычу и в голову не приходило принять в соображение, что сей юный птенец тринадцати лет бежал без позволения родителей из корпуса, прожил затем в Петербурге девять лет без копейки денег и даже без бумаг для свободного проживания, а потому знал жизнь и мог понимать людей.

– Точно так-с! – отвечал молодой человек совершенно развязно.

– Еще маменьки вашей пользовался расположением!..

– Ах да! Очень рад.

Антон Федотыч на всякий случай взял ле-
гонько за руку своего нового знакомого.

– Не угодно ли? – сказал он, показывая ему
другой рукой на стоявшие два стула.

Молодой человек повиновался, и оба они
уселись.

– Хорошенькое зальцо!.. – начал Антон Фе-
дотыч, недоумевая еще, в которую сторону
ему хватить.

– Да, но паркет нехорош! – заметил моло-
дой человек.

– Очень нехорош! – подхватил радостно
Антон Федотыч: слова эти прямо навели его
на тему. – А все ведь, ей-богу, дворянство на-
ше! Я предлагал им мой дом, ничего бы с них
не взял – ездите, танцуйте; ну, а паркет у ме-
ня такой, что и в московском дворянском со-
брании, пожалуй, такого нет.

– Это ваш дом на Ивановской-то? – заметил
ему насмешливо его собеседник.

– Да, на Ивановской! – отвечал Антон Федо-
тыч с замечательным хладнокровием.

– Зачем же там паркет? И дом-то весь раз-
валился.

– Случай!.. – отвечал Антон Федотыч, делая вид, что как бы не слышал последнего замечания. – Приехал я раз в Москву, и так как у меня всегда есть свободные деньги, я люблю, знаете, шляться по разным этим аукционам (Антон Федотыч в жизнь свою не бывал ни на одном аукционе и даже хорошенько не знал, как это там делается), только раз вдруг объявляют паркет: там дал кто-то какую-то цену, я дал рубль больше, третий сказал еще рубль, я говорю два – за мной и остался. Черт знает, зачем и для чего купил паркет!.. Ведут меня показывать; вижу: целая комната завалена какими-то деревянными кусочками. Делать, однако, нечего: велел я своему человеку купить ящичков, собрали мы с ним всю эту дрянь, повезли восвояси... Дом у меня тогда только еще отстраивался. Дай-ка, думаю, не будет ли чего-нибудь из моего паркета? Призываю я мастера. «Можешь ли, говорю, братец, собрать все это?» – «Могу-с!» – говорит... – «Ну, начинай с богом!» Только вижу, он работает день, другой... Меня любопытство взяло; иду к нему. «Что же, говорю, братец?» – «Да, батюшка, говорит, извольте посмотреть, какая шту-

ка выходит!» Смотрю я: все это уж у него разложено, и как бы на самой превосходнейшей картине изображено бородинское сражение... Лица всех известных генералов как живые; все это, знаете, выделано из дерева. «Батюшка, – говорит паркетник, – мне за такой паркет рядной цены взять нельзя». – «Да бери, говорю, братец, что хочешь, только увековечь ты мне это сокровище».

– До сих пор так с генералами и стоит? – спросил Коробов, нисколько, по-видимому, не удивленный рассказом Антона Федотыча.

– До сих пор с генералами! – отвечал тот.

– Так как же по генеральским-то лицам танцевать и ходить ногами – неловко!

– Очень неловко! – засмеялся Антон Федотыч.

Молодой человек между тем придал как бы мыслящее выражение своему лицу, потом потряхнул кудрями и начал:

– У меня в Петербурге тоже были всегда свободные деньги, и я раз тоже на аукционе купил для маменьки часы; оказалось потом, что они с будильником...

– Бывает, с такой, знаете, особенной маши-

ной! – подтвердил Антон Федотыч и показал даже рукою как бы некоторое подобие машины.

– Да дело не в машине, а в том, что часы будили в восемь часов, именно когда маменька привыкла вставать.

– Скажите! – произнес Антон Федотыч с некоторой дозой внимания.

– И это ничего! Но они будили не шумом, как будят обыкновенные часы, а выкрикивали человеческим голосом: «Вставайте!.. Вставайте!..»

– Скажите! – произнес опять Антон Федотыч, возвысив на значительное число нот свое внимание и даже показывая некоторое удивление.

– И это еще ничего! – доколачивал его молодой человек. – Будильник прибавлял: «Вставайте, Клеопатра Григорьевна!» – имя мамы выговаривал.

– Да, это приятно! – заметил Антон Федотыч, как-то насильственно улыбаясь.

Он поставлен был в странное положение. Весь его ум и соображение как бы подернулись каким-то туманом. В молодом человеке

он видел точно двойника своего, который мог совершенно то же делать, что и он делал.

– Вы вот справедливо сказали, – начал он после некоторого раздумья, – дом у меня точно что здесь стар. Неприятна, знаете, ветхость эта, а потому я гораздо больше люблю жить в усадьбе своей.

– А у вас хорошая усадьба? – спросил Коробов.

– Превосходная-с! Насчет угодий расскажу вам только одно. Раз, летом, погода такая прекрасная стояла, сижу я с семейством у себя на балконе; вдруг слышу колокольчик. «Кто такой?» – думаю. Оказывается, становой приехал. Ну, очень рад. «Антон Федотыч, говорит, к вам архиерей сейчас приедет. Услыхал, что вы поблизости: „Везите, везите, говорит, меня к нему“; я нарочно прискакал вас предупредить...» И точно, что я со всеми этими высокими духовными особами всегда был дружен, потому что и в молодости и до сих пор люблю заниматься этой богословией; только дело в том, что мы с семейством по слабости наших комплекций всегда едим скоромное... (Читатель, может быть, не забыл,

каким слабым здоровьем и малым аппетитом пользовался сам Антон Федотыч и все его семейство.) Но ведь это – монахи; по званию своему они не могут этого делать. Призываю я управляющего. «Скажи, говорю, братец, в город, плати там сколько хочешь, только доставай нам рыбы». – «Ничего-с, говорит, и около дома найдем». – «Как около дома?» – «Да так уж, говорит, не извольте беспокоиться». Ну, я знаю, что он действительно человек расторопный, поуспокоился. Приехал архиерей... Сидим мы... тары-бары распускаем, а меня между тем все червячок гложет: «Ну как, думаю, не найдут рыбы?» Вдруг этот самый управляющий меня вызывает. «Пожалуйста, говорит, на пруд да и его-то преосвященство попросите». Возвращаюсь я к гостям моим. «Вот, говорю, ваше преосвященство, дураком мой управляющий меня и вас на пруд выйти просит – там что-то такое необыкновенное случилось». – «Хорошо, говорит, я очень рад попойтись, а то все сидел». Выходим, и так-таки прямо нам в глаза, на берегу пруда – пуда в два осетр!..

– Бывает это! – подтвердил его слуша-

тель. – Раз мы с мамашей тоже сидим на балконе, только слышим вдруг колокольчик... Это чиновники из города едут к нам, а между тем среда... Мы с матушкой, по слабости нашего здоровья, едим скоромное, а чиновники, по их сану, всегда соблюдают посты... (Повеса на этот раз не счел даже за нужное менять фраз Антона Федотыча.) Только я призываю к себе управляющего: «Скачи, говорю, плати что хочешь за рыбу». – «Достанем, говорит, и дома, да еще и с дичью». Я сначала и поверил ему, но потом, когда чиновники приехали, меня, как и вас, стал тоже червячок поглаживать; однако управляющий вскоре же вбегает. «Пожалуйте, говорит, бога ради, с гостями на пруд да и винтовку уж захватите с собой». – «Зачем винтовку?» – «Нужно», – говорит... Бежим мы за ним. На берегу реки человек сорок мужиков тянут бредень... в него попал медведь, а белуга ему в ногу впилась!

Антон Федотыч даже уж и не усмехнулся на это; но тотчас же встал и отошел от своего собеседника и целый вечер был как опущенный в воду. Он полагал, что занимает своими разговорами молодого человека, а тот только

смеялся над ним – обидно!

Богатые лгуны и бедный

Наклонность полгать – в каких она иногда кротких душах живет! Я знал в В-е мещанина Петра Вакорина – чрезвычайно кроткого малого, обремененного огромным семейством, не способного ничего другого делать, как сходить за охотой, за грибами, рыбки поудить. Существовал он решительно благодеянием одного подгороднего помещика, Саврасова, честолубивейшего и надменнейшего человека и в то же время псового и ружейного охотника, который, собственно, и благодетельствовал Вакорину за то, что он выслеживал ему иногда места, удобные для охоты, хоть тот по большей части и навирал в этом случае. Слабость поприхватить в Вакорине, как в существе загнанном, так умеренно проявлялась, что ее почти никто и не замечал, а в то же время она была, и очень была: придет иногда и расскажет жене, что видел орла с орлятами, да улетели – канальство. А между тем никаких орлят не было, да и быть не могло. А

то отправится в соседний монастырь к обедне и там, будто случайно, расскажет казначею: «Какую, ваше преподобие, я на мельнице вашей щуку видел; пуда в два, надо полагать; вся седая ходит, мохом уж, значит, поросла!..» Разгорятся жадностью казначейские очи, велит он спустить омут – хоть бы пескарь! Начнут бранить Вакорина, непременно тут присутствующего; крестится, божится, что видел, тогда как сам очень хорошо знает, что видел нечто гораздо более похожее на палку, чем на щуку.

Раз его благодетель Саврасов на одной из своих осенних охот убил лисицу с черным хвостом. Можете себе представить, как это подействовало на его гордую и самолюбивую душу! Со шкурой этой лисицы он стал по всем ездить, всем ее показывать. «Видали ли вы это?» – говорил он, повертывая свой трофей перед носом почти каждого, и всякий благо-разумный человек, разумеется, придавал удивленное выражение своему лицу и говорил: «Да, да».

Случилось, что около того же времени Вакорин зашел к исправнику, с которым он со-

стоял в близких отношениях уже по случаю рыбной ловли, так как всегда доставлял ему отличных для удочки червяков, а когда сам ходил с ним зимою удить, так держал и отогревал этих червяков у себя во рту.

Смиренно поклонясь хозяину и гостям его (у исправника в это утро было человек несколько из дворянства), Вакорин в своем длиннополом сюртуке уселся в уголку и, положив руки на колени, стал улыбаться своей доброй улыбкой всякому, кто только на него взглядывал. Хозяин, наконец, заметил его одинокое положение и обратился к нему:

– Петруша, что ты там все сидишь? Поди выпей водочки!

Вакорин скромно встал, подошел к закуске, несмелой рукой стал наливать себе рюмку. В это время двери с шумом растворились, и в гостиную вошел Саврасов с лисьей шкурой в руках.

– Как вы это находите? – обратился он прямо к хозяину и ни с кем почти не кланяясь.

– И слов уж не нахожу, как это выразить! – отвечал тот, раболепно склоняя голову перед гостем.

– Во всем европейском ружейном мире в десять лет один такой выстрел бывает! – сказал Саврасов.

На этот разговор их Вакорин, не допив еще рюмки, отвел от нее свои кроткие глаза и проговорил довольно громко:

– Каждый год по три таких штуки бью!

Хозяин уставил на дерзкого удивленные глаза, а Саврасов сначала только попятился назад.

– Как, ты бьешь каждый год по три? – проговорил он, не могши еще прийти в себя.

– Бью-с! – отвечал, покраснев, Вакорин.

– Бьешь? – проговорил опять Саврасов.

– Бью-с! – повторил еще раз Вакорин.

– Бьешь? – заревел уже с вспыхнувшим, как зарево, лицом оскорбленный честолюбец и схватил Вакорина за шивороток.

Хозяин и гости подбежали к ним.

– Ну, полноте, бросьте его! – унимали они Саврасова.

– Дурак! Ну, где ты бьешь? – увещевал Вакорина исправник.

– Бью, батюшка, – повторил он и тому.

– Господа! Возьмите его у меня; иначе я его

задушу! – сказал Саврасов, отбрасывая от себя Вакорина.

– Что хотите, то и извольте делать, а что бивал, – не унимался бедняк, утирая с лица катившийся пот.

– Ну, так пошел же вон! – крикнул на него уж и хозяин, выведенный из терпения такою ложью.

– Я уйду, сударь, уйду! – говорил Вакорин и пошел.

– Я тебе теперь, каналья, кости оглоданной не дам, – вскричал Саврасов, выбегая вслед за ним.

– И я тоже, и я! – повторял хозяин.

Вакорин бледнел, делал из лица препечальнейшую мину.

В лакейской его стал было даже лакей уговаривать:

– Полноте, Петр Гаврилыч, потешьте господ; скажите, что неправду сказали.

– Что мне тешить-то? Бивал сколько раз! – отвечал ему Вакорин.

Лакей на это не стерпел и плюнул.

– Фу ты, господи боже мой! – проговорил он.

Господа между тем рассуждали о наглomme в гостиной.

– Каков каналья, а? Каков? – кричал Саврасов на весь дом.

Его мелков самолюбьишко было страшно оскорблено. Недели через две он по наружности как бы и простил Вакорина, стал даже принимать его к себе в дом, но в душе питал против него злобу. Раз... это уж было у самого Саврасова, тоже собралось дворянство, в том числе два брата Брыкины. Еще покойный отец этих господ рассказывал, что поехал он однажды ночью через Галичское озеро – вдруг трах, провалился в прорубь; дыханье, разумеется, захватило; глаза помутились; только через несколько секунд дышать легче – глядит, тройка его выскочила в другую прорубь – и полнехоньки сани рыбы зачерпнулись в озере. Другой раз заговорили о храме Петра в Риме. «Что это такое за важность этот храм! – воскликнул Брыкин. – Говорят, велик он очень! Вздор! Велик сравнительно, потому что вся-то Италия с нашу губернию. Ну, а как наша матушка Россия раскинулась, так что ни построй, все мало. Вот у нас при-

ход или, лучше сказать, приходишко; выстроили церковь – так псаломщик за всеобщей с клироса на клирос на жеребенке верхом ездил».

– Батюшка! – воскликнул при этом укоризненно даже один из сыновей.

– А длина церкви велика ли? – спросил кто-то из слушателей.

– Длина? – отвечал несколько опешенный замечанием сына старик. – Длина сажени три.

Так он врал, и все его слушали и даже почти верили ему, потому что тысяча душ была у него. Сынки тоже пошли по нем. В настоящее собрание один из них рассказывал: «Стали, говорит, мы спускаться с Свиныйинской горы, – ведь вы знаете, это стена, а не гора... что-то одна из лошадей плохо спускала – понесли. Заднее колесо заторможено было – однако, пи, пи, пи! – ничего не помогает; я, делать нечего, говорю брату – мы с ним сидели на передней лавочке, а жены наши на задней: „Давай, говорю, тормозить передние колеса;“ нагнулись: я на одну сторону – он на другую, взяли колеса в наши лапки – на один камень

колесо наскочит, на другой – в рытвину сухую попадет; смотрим, лошади наши уж не несут, а везут коляску».

– И я заторможу колесо, – отозвался вдруг черт знает с чего и для чего Вакорин, тоже тут присутствовавший.

Глаза хозяина загорелись бешенством.

– Ты затормозишь? – спросил он.

– Я-с.

– Да ты, каналья, не только коляску, а одну лошадь на беговых дрожках обеими твоими скверными руками и ногами не остановишь! – прошипел он.

– И так остановлю-с.

– Остановишь? Люди! – Саврасов хлопнул в ладоши.

Вбежали люди.

– Сейчас заложить серого в беговые дрожки. Останавливай! – обратился он к Вакорину.

Тот только уже улыбался.

Лошадь была заложена и приведена к крыльцу. Все гости и хозяин вышли туда.

– Посмотрим, посмотрим! – говорили самолюбиво братья Брыкины.

Вакорин, как обреченный на казнь, шел

впереди всех.

– Как же ты остановишь? – спрашивали его некоторые из гостей, которые были подобнее.

– А вот как, – отвечал Вакорин, ложась грудью на дрожки и сам, кажется, не зная хорошенько, что он делает, – вот руки сюда засуну, а ноги сюда! – сказал он и в самом деле руки засунул в передние колеса, а ноги в задние.

– Отпускай! – крикнул он каким-то отчаянным голосом державшему лошадь кучеру.

Тот отпустил. Лошадь бросилась, колеса закрутились; Вакорин как-то одну ногу и руку успел вытащить, дрожки свернулись набок, лошадь уж совсем понесла, так что посланный за нею верховой едва успел ее остановить.

Вакорин лежал под дрожками.

– Вставайте! – сказал подъехавший к нему верховой.

– Немного, проклятая, наскочила – остановил же! – сказал Вакорин и хотел было подняться, но не мог: у него переломлена была нога.

Лет десять тому назад я встретил его в В... совсем уже стариком, хромым и почти нищим. Он сидел на тротуаре и, макая в пустую воду сухую корку хлеба, ел ее. Невдалеке от него стоял босоногий мальчишка и, видимо, поддразнивал его. «Лисичий охотник, лисичий охотник!» – повторял он беспрестанно. Это было прозвище, которое Вакорину дали в городе после первого несчастного с ним случая по поводу лисьей шкуры. Старик только по временам злобно взглядывал на шалуна. Я подошел к нему.

– Что это, Петр Гаврилыч, до чего это ты дошел? – спросил я его.

– Что делать, сударь? Стар стал уж!.. А добрых господ, как прежде было, нынче совсем нет! – отвечал он, и слезы навернулись у него на глазах.

Кого он под «добрыми господами» разумел – богу известно!

III

Кавалер ордена Пур-ле-мерит[2]

Прелестное июльское утро светит в окна нашей длинной залы; по переднему углу ее стоят местные иконы, принесенные из ближайшего прихода. Священник, усталый и запыленный, сидит недалеко от них и с заметным нетерпением дожидается, чтобы его заставили поскорее отслужить всенощную, а там, вероятно, и водку подадут. Матушка, впрочем, еще не вставала, а отец ушел в поле к рабочим. Я (очень маленький) стою и смотрю в окно. Из поля и из саду тянет восхитительной свежестью. Тут же по зале ходит ночевавший у нас сосед, Евграф Петрович Хариков, мужчина чрезвычайно маленького роста, но с густыми черными волосами, густыми бровями и вообще с лицом неумным, но выразительным; с шести часов утра он уже в полной своей форме: брючках, жилетике, сюртучке и пур-ле-мерите. Орден сей Евграф Петрович получил за то, что в чине армейско-

го поручика удостоился великого счастья содержать почетный караул при короле прусском в бытность того в Москве. Раздражающее свойство утра заметно действует на Евграфа Петровича; он проворно ходит, подшаркивает ножкою, делает в лице особенную мину. Евграф Петрович – чистейший холерик; его маленькой мысли беспрестанно надо работать, фантазировать и выражать самое себя. В настоящую минуту он не выдерживает, наконец, молчания и останавливается перед священником.

– Вы дядю моего Николая Степаныча знали?

Священник поднимает на него глаза и бороду.

– Нет-с! – отвечает он с убийственным равнодушием.

– Как же, гвардейского корпуса командиром был, – продолжал Хариков опять как бы случайно. – Да вы знаете, что такое корпусный командир?

– Нет-с! – отвечает и на это священник и, в то же время вытянув из своей бороды два волоска, начинает их внимательно рассматри-

вать.

– Войско наше разделяется на роту, батальон, полк, дивизию и корпус – поняли?

Священник вытянул целую прядь волос.

– Понял-с, – произнес он.

– Ну, а слышали ли вы, – продолжал Хариков чисто уже наставническим тоном, – что покойный государь Александр Павлович великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича держал строгонько?

Священник отрицательно покачал головой.

– Ну, так это было! – произнес Хариков полутаинственно и полупшепотом. – И что значит военная-то дисциплина... – продолжал было он, прищуривая глаза, но в это время в комнату вошел покойный отец, по обыкновению мрачный и серьезный, и сел тут на стул.

Евграф Петрович употребил над собою все усилие, чтобы продолжать разговор в прежнем тоне.

– И так как великий князь был бригадным, дядя корпусным, я – адъютантом...

– У кого это адъютантом? – перебил его отец.

– У дяди Николая Степановича, – отвечал ему скороговоркой и не повернувшись даже в его сторону Хариков.

– А!.. – произнес отец.

Все очень хорошо знали, что Хариков никогда и ни у какого своего дяди адъютантом не бывал, и сам он очень хорошо знал, что все это знали, но останавливаться было уже поздно.

– Великий князь обыкновенно каждую неделю являлся к дяде с рапортом, – говорит он, стараясь скрыть волнение в голосе, – я, как адъютант, докладываю... Дядя выйдет и хоть бы бровью моргнул... Великий князь два пальца под козырек и рапортует: «Ваше высокопревосходительство, то-то и то-то!..» Дядя иногда скажет: «Хорошо, благодарю, ваше высочество!», а иногда и распеканье. Так не поверите вы, – продолжал Евграф Петрович, обращаясь уж более, кажется, к иконам, чем к своим слушателям, – идет великий князь назад через залу... Я его, разумеется, провожаю... он возьмет меня за руку, крепко-крепко сожмет ее. «Тяжело, говорит, братец Хариков, жить так на свете».

Эти слова священника даже пробрали; он повернулся на стуле и почесал у себя за ухом. В лице отца появляется какая-то злобная радость.

– А как вы с ним кутить ездили? – спросил он хоть бы с малейшим следом улыбки на лице.

– Ездили! – отвечал Хариков, слегка вспыхнув. – С Николаем Павловичем, впрочем, не часто, а все с Михаилом Павловичем... тот любил это... Пишет, бывало, записку: «Хариков, есть у тебя деньги?» Ну, разумеется, пишу: есть, и отправимся, иногда и Николай Павлович с нами...

– А как вас в часть-то было взяли? – спросил отец с дьявольским спокойствием.

– Да, да! – отвечал Хариков, засмеявшись самым добродушным смехом. – Ну, разумеется, молодые люди раз как-то на островах перешаляли немного!.. Трах!.. Полиция и накрыла. «Бога ради, говорят, не говорите, что мы великие князья, и окажите, что просто офицеры». Как, думаю, сказать: просто офицеры, ведь кварталный их потянет; а дядя, я знаю, только и говорит: «Попадись уж, говорит, этот

великий князь в чем-нибудь, я его два года с гауптвахты не выпущу...» Делать нечего, отозвал квартального в сторону... «Дурак, говорю, ведь это великие князья...» Он как стоял, так и присел на корточки и, разумеется, сейчас же скрылся... я деньги там, какие нужно было, заплатил, и уехали.

– Как вы ехали назад: сухим путем или водою? – спросил отец, как бы не думая ничего особенного этим сказать.

– До Дворцового моста на извозчике доехали, а тут встали, до дворца-то пешком дошли, – отвечал Хариков, как бы не поняв насмешки. – И какая, господи, у государя память была... в последний приезд свой к нам... Ну, разумеется, мы все, дворяне, собрались в зале... Впереди вся эта знать наша... губернатор, председатель, предводитель... я, какой-нибудь ничтожный депутатишко от дворянства, стою там где-то в углу... Он идет, только вдруг этак далеко, но прямо против меня останавливается. «Хариков, говорит, это ты?» – «Я, говорю, ваше величество», а у самого слезы так и льются. Вижу, у него на правом глазу слезинка показалась. «Очень рад, говорит, бра-

тец, тебя видеть, только смотри, не болтай много...» – «Ваше величество...» – говорю.

– Это и я слышал! – подхватил вдруг отец.

– Ну, да, вот и вы, кажется, тут были! – обратился к нему Хариков, видимо удивленный этой поддержкой.

– Еще тогда государь поотошел немного, – продолжал серьезно отец, – да и говорит дворянству: «Вы, господа, пожалуйста, не верьте ни в чем Харикову: он ужасный лгунишка и непременно вам на меня что-нибудь налжет».

– О, вздор какой! – произнес со смехом Хариков. – Станет государь говорить.

– Как не вздор! – возразил ему отец. – Я дал тебе три короба нагородить, а ты мне маленький кузовочек не хочешь позволить.

К счастью Евграфа Петровича, в то время вошла матушка. Он поспешил перед ней модно расшаркаться, поцеловал у ней ручку и осведомился об ее здоровье.

Во время всеобщей молитвы он заметно молился на старинный офицерский манер, то есть клал небольшой крестик и едва склонял голову, затем почему-то с особенным чувством пропел: «От юности моя мнози борят мя

страсти!» Но когда начали «Взбранной воеводе», он подперся рукою в бок, как будто бы держась за шарф, откуда бас у него взялся, пропел целый псалом, ни в одной ноте не сорвавшись, и, кончив, проговорил со вздохом: «Любимая стихера государя!»

Мне всего еще раз удалось видеть, уже на смертном одре, этого невинного человека в его маленькой усадьбе, маленьком домике и в маленькой спальне, в которой не было никаких следов здорового человека, всюду был удушливый воздух, везде стояли баночки с лекарством, и только на столике у кровати лежал пур-ле-мерит на совершенно свежей ленте.

Когда я сел около Евграфа Петровича, он крепко сжал мне руку.

– Вы, вероятно, будете у меня на похоронах? – проговорил он довольно спокойным голосом. – Прикажете, пожалуйста, чтобы крест этот несли перед моим гробом: я заслужил его кровью моею.

Евграф Петрович во всю жизнь свою капли не проливал ни своей, ни чужой крови.

Через неделю он помер. Я долгом себе по-

ставил исполнить его предсмертное желание и даже сам нес крест на малиновой подушке, которую покойник задолго еще до смерти поспешил для себя приготовить.

«О судьба! – думал я. – Для чего ты не дала этому человеку звезду... Любопытно бы было видеть ту степень нежности, с какою бы он относился к этой высокой награде служебных заслуг».

IV

Друг царствующего дома

Честолюбие так же свойственно женским сердцам, как и мужским. Тетка моя, Мавра Исаевна Исаева, была как бы живым олицетворением этого женерозного[3] чувства. Признаюсь, и по самой наружности я не видывал величественнее, громаднее и могучее этой дамы, или, точнее сказать, девицы: прямой греческий нос, открытый лоб, строгие глаза, презрительная улыбка, густые серебристые в пуклях волосы, полный, но не обрюзглый еще стан, походка грудью вперед; словом, как будто бы господь бог все ей дал для выражения ее главного душевного свойства.

Мавра Исаевна, как можно судить по ее здоровой комплекции, чувствовала большую склонность к замужеству; но единственно по своему самолюбию осталась в самом строгом смысле девственницею и ни разу не снизошла до вульгарной любви к какому-нибудь своему брату дворянину, единственную страстью ее был и остался покойный государь

Александр Павлович. Когда после 12-го года он объезжал Россию, она видела его в маленьком уездном городке из окон своей квартиры.

– Он проехал в коляске, блистающий красотой и милосердием, и судьба сердца моего была решена навек, – говорила она прямо и откровенно всем.

В двадцать четвертом и двадцать пятом годах Мавре Исаевне случилось быть по делам в Петербурге. Она видела петербургский потоп, видела государя, задумчиво и в грусти стоявшего на балконе Зимнего дворца. Она сама жила в это время на Васильевском острове, потеряв все свое маленькое имущество. Из особенно устроенной комиссии ей было предложено вспомоществование.

– Позвольте узнать, из каких это сумм? – спросила она раздававшего чиновника.

– Из сумм государственного казначейства, – отвечал тот.

Мавра Исаевна сделала гримасу презрения.

– Я подаяние могу принимать только от моего бога и государя, – проговорила она и не взяла денег.

Видела Мавра Исаевна и 14 декабря; на ее глазах (она жила тогда уже в Семеновском полку) солдаты вышли из казарм и возвратились туда. В тот же день вечером (поутру она немножко притрухивала выходить из квартиры) она встретила Орлова, проехавшего с своими кавалергардами. Около этого же времени Мавра Исаевна по просьбе одной своей знакомой ездила к ее дочери в Смольный монастырь. Начальница его, оказавшаяся землячкой Мавры Исаевны, очень ласково приняла ее и, видя, что эта бедная провинциалка все спрашивает о царской фамилии, пригласила ее на одно из торжественных посещений Марьи Федоровны. Чтобы лучше было видеть, она поставила Мавру Исаевну около главного входа, через который императрица должна была проходить. Мавра Исаевна поклонилась государыне глубоко, но с достоинством; та, по обычной своей любезности, отвечала ей доброй улыбкой и легким наклоном головы.

Все эти случаи, не особенно знаменательные, подействовали, однако, странным образом на воображение пятидесятилетней деви-

цы: она стала считать себя окончательно связанною с царствующим домом и, проживая потом лет тридцать в деревне, постоянно держала около себя воспитанниц, которых единственною обязанностью было выслушивать различные ее фантазии на эту тему; но эти неблагодарные твари, как обыкновенно Мавра Исаевна называла их, когда прогоняла от себя, обнаруживали в этом случае довольно однообразное свойство: вначале они как будто бы и принимали все ее слова с должным удовольствием, но потом на лицах их заметно стала обнаруживаться скука, и, наконец, они начинали делать своей благодетельнице такие грубости, что она поневоле должна была расставаться с ними. В последние годы жизни Мавры Исаевны пошло еще хуже. Из соседних дворянок, приказничих, мещанок жить к ней никто даже и не шел.

Она принуждена была входить в переписку с начальницами разных монастырей, приютов, ездить к ним, подличать перед ними, делать им подарки, чтобы они уделили ей хоть какой-нибудь отросток из своего богатого питомника; но и тут счастья не было: пер-

вый взятый ею отпрыск вдруг оказался в таком положении, что Мавра Исаевна, спасая уже свою собственную честь, поспешила ее отправить поскорее обратно в заведение.

Последней приживалкой Мавры Исаевны была из дворян богомолка Фелисата Ивановна. Мавра Исаевна сама про нее говорила, что эту девицу ей бог послал. На глазах автора Фелисата Ивановна в глухую полночь, в тридцать градусов мороза, бегала для своей благодетельницы в погреб за квасом; и подобная привязанность оказалась потом непрочною: чрез какой-нибудь год стало заметно, что между Маврой Исаевной и Фелисатой Ивановной пошло как-то нехорошо.

Раз мы ужинали. Тетушка с своей обыкновенною позой, я – всегда ее немножко притруживающий, и Фелисата Ивановна. Последняя сидела с крепко сжатыми губами и с неподвижно сложенными руками; есть она давно уже ничего не ела ни за обедом, ни за ужином.

– Славный хрусталь! – имел я неосторожность сказать.

– Да, это хрусталь петербургский! – отвеча-

ла Мавра Исаевна, кинув почему-то взор презрения на Фелисату Ивановну. Слова Петербург, петербургский всегда поднимали в ней самолюбие и как будто бы давали шпоры этому ее чувству.

– У меня бы его было человек на сто, как бы не эта госпожа, – прибавила она, указывая уже прямо глазами на Фелисату Ивановну.

Тонкие губы той еще более сжались.

– Я, кажется, у вас еще ничего не разбила! – возразила она тихо, шипящим голосом.

– Ты разбила у меня то, что дороже было для меня всего в жизни, – стакан, который подарила мне императрица Мария Федоровна.

– Какой уж это стакан императрицы – стаканишко какой-то!

Мавра Исаевна вся побагровела.

– Молчать! – крикнула она.

Фелисата Ивановна действительно разбила какой-то стаканишко, на котором была отлита буква М и который Мавре Исаевне вдруг почему-то вздумалось окрестить в подарок императрицы.

– Как то случилось, – продолжала она, обращаясь с некоторою нежностью ко мне, – то-

гда я познакомилась в Петербурге с генеральшей Костиной. «Марья Ивановна, говорю, на что это похожи нынешние девицы? Где у них бог?.. Где у них манеры? Где уважение к старшим?» – «Душенька, говорит, Мавра Исаевна, позвольте мне слова ваши передать императрице». – «Говорите», – говорю. Только вдруг после этого курьер ко мне, другой, третий: «Императрица, говорят, желает, чтобы вы представились ей...» Я еду к Костиной. «Марья Ивановна, говорю, я слишком высоко ставлю и уважаю моих государей, чтобы в этом скудном платье (Мавра Исаевна при этом взяла и с пренебрежением тряхнула юбкою своего платья) явиться перед их взоры!» Но так как Костина знала весь этот придворный этикет, «Мавра Исаевна, говорит, вы не имеете права отказаться, вам платье пришлют и пришлют даже форменное». – «А, форменное – это другое дело!»

Я нарочно закашлял, чтобы скрыть свои мысли.

– Какое же это форменное? – спросил я.

Мавра Исаевна прищурила глаза.

– Очень простенькое, – отвечала она, – чер-

ное гласе, на правом плече шифр, на рукавах буфы, опереди наотмашь лопасти, а сзади шлейф... Генеральша Костина тоже в гласе... на левой стороне звезда, на правой лента через плечо... Императрица приняла нас в тронной зале, стоя, опершись одной рукой на кресло, другой на свод законов. «Вы девица Исаева?» – «Точно так, говорю, ваше величество». Она этак несколько с печальной миной улыбнулась. «Скажите, говорит, за что вы порицаете моих детей?» (Она ведь всех воспитанниц своих заведений называла детьми, и точно что была им больше чем мать...) «Ваше величество, говорю, правила моей нравственности вот в чем, вот в чем, вот в чем состоят». Императрица пожала плечами. «Но как же, говорит, скажите, как вы могли так хорошо узнать моих девиц?» – «Ваше величество, говорю, мне нельзя этого не знать, я имею тут дочь... Мне, как матери и другу моей дочери, нельзя этого не знать».

– Какой дочери? – воскликнул я.

У Фелисаты Ивановны ее тонкий рот раскрылся почти до ушей.

– Да, дочери, – отвечала Мавра Исаевна

спокойно.

– Кто же отец вашей дочери? – спросил я.

– Странно спрашивать, – отвечала Мавра Исаевна.

На этом месте Фелисата с умыслом или в самом деле не могла удержаться, но только фыркнула на всю комнату.

Мавра Исаевна направила на нее медленный, но в то же время страшный взор.

– Чему ты смеешься? – спросила она ее каким-то гробовым тоном.

Фелисата Ивановна молчала.

– Чему ты смеешься? – повторила Мавра Исаевна тем же тоном.

– Да как же, матушка, какая у вас дочь! – отвечала, наконец, Фелисата Ивановна.

– А такая же... костяная, а не лычная, – отвечала Мавра Исаевна по-прежнему тихо, но видно было, что в ее громадной груди бушевало целое море злобы. – Я моих детей не раскидала по мужикам, как сделала это ты!

Фелисата Ивановна покраснела. Намек был слишком ядовит, она действительно в жизнь свою одного маленького ребеночка подкинула соседнему мужичку.

– Не было, сударыня, у меня никаких детей, – возразила она, – и у вас их не было... Вы барышня... Вам стыдно это на себя говорить.

– А вот и было же!.. На вот тебе! – сказала Мавра Исаевна и показала Фелисате Ивановне кукиш.

– Где ж ваша дочь теперь? – спросил я, желая испытать, до какой степени может дойти фантазия Мавры Исаевны.

– Не беспокойтесь, она умерла, – отвечала она с заметною ядовитостью, – а если б и жива была, не лишила бы вас наследства. У ее отца слишком было много, чем ее обеспечить... О мой маленький кроткий ангел! – воскликнула нежным и страстным голосом старушка. – Как теперь на тебя гляжу, как лежала ты в своем маленьком гробике, вся усыпанная цветами, я стояла около тебя и не плакала. Его не было... Ему нельзя было приехать...

На этих словах Мавра Исаевна вдруг вскочила из-за стола, встала перед образом и всплеснула руками.

– Господи, упокой его душу и сердце и помяни его в сонме праведников своих!.. – за-

шептала она, устремляя почти страстный взор на иконы.

Мы с Фелисатой Ивановной тоже вскочили, пораженные и удивленные.

Старуха молилась по крайней мере с полчаса. Слезы лились у нее по щекам, она колодила себя в грудь, воздевала руки и все повторяла: «Душу мою, душу мою тебе отдам!» Наконец, вдруг гордо обернулась к Фелисате Ивановне и проговорила: «Пойдем, иди за мной!» и мне, кивнув головой, прибавила: «Извини меня, я взволнована и хочу отдохнуть!» – и ушла.

Фелисата Ивановна последовала за ней с опущенными в землю глазами.

Я долго еще слышал сверху говор вниз и догадался, что это распекают Фелисату Ивановну, потом, наконец, заснул, но часов в семь утра меня разбудил шум, и ко мне вошла с встревоженным видом горничная.

– Пожалуйста к тетушке, несчастье у нас.

– Какое?

– Фелисата Ивановна потихоньку уехала к родителям своим.

Я пошел. Мавра Исаевна всю свою вели-

колепной фигурой лежала еще в постели; лицо у нее было багровое, глаза горели гневом, голая ступня огромной, но красивой ноги выставлялась из-под одеяла.

– Фелисатка-то мерзавка, слышал, убежала, – встретила она меня.

Я придал лицу моему выражение участия.

– Ведь седьмая от меня так бегают... Отчего это?

– Что же вам, тетушка, так очень уж гоняться за этими госпожами! Будет еще таких много.

– Разумеется! – проговорила Мавра Исаевна уже прежним своим гордым тоном.

– Вам гораздо лучше, – продолжал я, – взять в комнату вашу прежнюю ключницу Глафиру (та была глуха на оба уха и при ней говори, что хочешь, – не покажет никакого ощущения)... Женщина она не глупая, честная.

– Честная! – повторила Мавра Исаевна.

– Потом к вам будет ездить Авдотья Никаноровна.

– Будет! – согласилась Мавра Исаевна.

Авдотья Никаноровна хоть и не была глу-

ха на оба уха, но зато такая была дура, что ничего не понимала.

– Наконец, Эпаминонд Захарыч будет постоянный ваш гость.

– Да, Эпаминондка! Пьяница только он ужасный.

– Нельзя же, тетушка, чтобы человек был совершенно без недостатков.

Эпаминонд Захарыч, бедный сосед, в самом деле был такой пьяница, что никогда никакими посторонними предметами и не развлекался, а только и помышлял о том, как бы и где бы ему водки выпить.

– Все они будут бывать у вас, развлекать вас, – говорил я, помышляя уже о собственном спасении. Эта густая и непреоборимая атмосфера хоть и детской, но все-таки лжи, которую я дышал в продолжение нескольких дней, начинала меня душить невыносимо. – А теперь позвольте с вами проститься, – прибавил я нерешительным голосом.

– Прощай! Бог с тобой! – отвечала Мавра Исаевна. Ей в эту минуту было не до меня: ей нужна была Фелисатка, которую она растерзать на части готова была своими руками. До-

ма я нашел письмо от Фелисаты Ивановны, которым она хотела объяснить передо мной свой поступок. «Мне, батюшка Алексей Феофилактыч, – писала она мне в нем, – легче было, кажется, удавиться, чем слушать хвастанье и наставленья вашей тетиньки!»

Три остальные года своей жизни Мавра Исаевна, живя в совершенном одиночестве, посвятила на то, чтобы, никогда не умевши рисовать, при своих слабых, старческих глазах, вышивать мельчайшим пунктиром нерукотворный образ спасителя, который и послала в Петербург с такой надписью: Брату моего покойного государя! Все потом ждала ответа, и так как ожидания ее не сбывались, то она со всеми своими знакомыми совещалась:

– Уж как бы отказать, так прямо бы отказали, а то, значит, дело в ходу.

– Конечно, в ходу, – отвечали ей те в утешение.

V

Блестящий лгун

Во лжи, как и во всяком другом творчестве. Весть своего рода опьянение, нега, сладострастие; а то откуда же она берет этот огонь, который зажигает у человека глаза, щеки, поднимает его грудь, делает голос более звучным?.. Некто N... еще в двадцатых годах совершивший кругосветное путешествие, был именно одним из таких электризирующих себя и других улаждающих говорунов и лгунов своего времени. Маленький, проворный, живой, с красивыми руками и ногами и вообще своей наружностью напоминающий польского ксендза, имеющий привычку, когда говорит, закрывать глаза и вскрикивать в конце каждой фразы как бы затем, чтобы сильнее запечатлеть ее в ушах слушателей, N... почти целые две зимы был героем Москвы. Князь П... (да простит господь бог этому человеку его гордость, которая могла равняться одной только сатанинской гордости!), князь П... искал знакомства с N... Обстоятельство это,

впрочем, надобно объяснить влиянием княгини, которое она всегда имела на мужа. При воспоминании об этой даме автор не может не прийти в некоторый восторг от мысли, что в России была такая умная и ученая дама. Целый день она, бывало, сидит в своей обитой штофом гостиной, вечно с книгой в руках; две ее дочери, стройные и прямые, как англичанки, тоже с книгами в руках. Положим, к княгине приезжает с визитом какая-нибудь m-me Маурова, очень молоденькая и ветреная женщина.

– Avez vous lu Chateaubriand?[4] – спросит вдруг княгиня, показывая глазами на книгу, которую держит в руках.

– Non, – отвечает та очень покойно.

– Non?.. – повторит княгиня почти ужасающим голосом.

– Mon man n'est pas encore alle au magasin de Gothier.[5]

– Шатобриан вышел год тому назад! – скажет княгиня и, не ограничиваясь этим, обратится еще к одной из дочерей своих:

– Chere amie[6], принеси мне les Metamorphoses d'Ovide.[7]

Она очень хорошо знает, что m-me Маурова и слов таких: Метаморфозы Овидия не слышала, – а потому по необходимости должна растеряться и уехать.

Я привел этот маленький эпизод единственно затем, чтобы показать, какие люди интересовались N... и дали, наконец, ему торжественный обед, к которому все было предусмотрено: во-первых, был приглашен к обеду, как человек очень умный, профессор Марсов, учивший дочерей княгини греческому языку; из других мужчин были выбраны по большей части сановники – друзья князя; кроме того, на обед налетело больше десятка пестрых и прелестных, как бабочки, молодых дам.

N... входит; но мы ловим его не на его официальном поклоне хозяйке, не в то время, когда он почти дружески пожимал руку хозяйна, не даже тогда, когда, сидя уже за столом по правую руку хозяйки, после съеденного супа он начинал ей запускать кое-что о супах-консервах, не в тот момент, когда князь, став на ноги, возвестил тост за здоровье N... как за здоровье знаменитейшего путешественника, а княгиня, дружески пожимая ему

руку, проговорила с ударением: «И я пью!» На все это N... ответил краткими и исполненными чувства словами, но и только! Он знал, что минута его еще не настала, и был целомудренно скромн. Она настала, когда он остался в прекрасном кабинете, освещенном по тогдашней моде восковыми свечами, в совершенно интимном кружку князя, княгини, профессора Марсова и двух – трех дам, самых искренних его почитательниц. N... сидел на покойном кресле; беспечная голова его была закинута назад, коротенькие ножки утопали в ковре; ощущая в желудке приятный вкус высокоценного рейнвейна, он по крайней мере с час описывал разницу между Европою и затропическими странами.

– Наконец, женщины затропические! – воскликнул он в заключение и поцеловал при этом кончики своих пальцев.

Княгиня на короткое мгновение переглянулась с прочими дамами.

– On dit... pardon, это – московские слухи... on dit, que vous avez ete marie a une petite negresse.[8]

N... стыдливо потупляет глаза.

– Non, на мавританке, – ответил он вполголоса. – Это – маленькое племя, живущее около Триполи, – продолжает он, вздохнув и как бы предавшись воспоминанию.

– Вы были, значит, и в Африке? – спросил его с мрачным видом Марсов.

– Мой бог, я был в Африке везде, где только могла быть нога человеческая.

Говоря точнее, нога N... ни на одном камне Африки не была, и он только в зрительную трубку с корабля видел ее туманные берега.

– Я был, наконец, пленник: меня консул александрийский выменял на слона.

– Почему же александрийский консул? – вмешался в разговор князь. Он всегда интересовался дипломатическим корпусом и считал его почему-то близким себе.

– Очень просто! – отвечал N... и в творческой голове его создалась уже целая картина. – Это случилось на пути моем к Тунису. Я ехал с маленьким караваном... ночью... по степи полнейшей... только и видно, как желтое море песку упирается в самое небо, на котором, как бы исполинскою рукою, выкинут светлый шар луны, дающий тень и от вас, и

от вашего верблюда, и от вашего вьюка, – а там вдали мелькают оазисы с зеленеющими пальмами, которые перед вами скорее рисуются черными, чем зелеными очертаниями; воздух прозрачен, как стекло... Только вдру на горизонте пыль. Проводники наши, как увидели это, сейчас повертели лошадей в противоположную сторону и марш. «Что такое?» – спрашиваем мы. «Бедуины», – отвечает нам толмач, и представьте себе – мы без всякой защиты, в пустыне, которая малейшим эхом не ответит на самые ваши страшные предсмертные крики о помощи...

– Ужасно! – проговорила княгиня.

– Ужасно! – повторили и прочие дамы.

Н... продолжал:

– Пыль эта, разумеется, вскоре же превратилась в людей; люди эти нас нагнали. У меня были с собой золотые часы, около сотни червонцев. Спросили они меня через переводчика: кто я такой? Отвечаю: «Русский!» Совет они между собой какой-то сделали, после которого купцов ограбили и отпустили, а меня взяли в плен. Толмач, однако, мне говорит, что все дело в деньгах: стоит только написать

какому-нибудь нашему консулу, чтобы он меня выкупил. «Но какой же, думаю, консул на африканском берегу? Самый ближайший из них александрийский». Кроме того, спрашиваю: «Как же я напишу ему?» – «Ваше письмо, говорят, или с нарочным пошлют, или просто по почте». Между всеми европейскими консулами и этими разбойничьими шайками установлено прямое сообщение.

Проговоря это, N... несколько приостановился. «Ну как, – подумал он, – этого ничего нет, да и быть, вероятно, не может!»

– Впоследствии, впрочем, оказалось, – продолжал он, – что эти самые толмачи и наводят караваны на шайки, а после и делят с ними добычу...

Марсов при этих словах повернулся на стуле.

– Как же толмач может навести? Его дело – переводить с языка, а по дороге вести – дело проводника! – проговорил он своим точным языком.

– О, эти два ремесла всегда в одном лице соединены! – воскликнул N...

– Да ведь вы сами же сказали, что провод-

ники ваши ускакали, а толмач при вас остался.

– То не проводники, а военная стража – только! – возразил Н...

– То военная стража! – подтвердил и хозяин.

Марсов, незаметно для других, пожал плечами и замолчал.

– Что же, вас в плену держали в тюрьме, под надзором? Употребляли на какие-нибудь работы? – спросила княгиня с участием.

– О нет, напротив! – воскликнул Н... (до какой степени он быстро творил в этом разговоре – удивляться надо). – Я жил в очень маленьком селеньице, состоящем из глиняных саклей – по загородям бананы растут, как наши огурцы; в какое-нибудь драгоценнейшее фиговое дерево – вы вдруг видите – для чего-то воткнуто железное орудие вроде нашей пещни, и на ней насажена мертвая баранья голова...

– Что же, к консулу вы писали? – перебил его князь.

– Писал... С одним купцом, дружественным этому селению, письмо мое было отправлено.

– Что ж он вам отвечал? – продолжал князь.

Он решительно во всем этом разговоре только и заинтересовался, что консулом и отчасти военною стражею, названною проводниками.

– Консул отвечал, – продолжал N... – что он для выкупа пленных совершенно не имеет сумм; но в то же время, принимая там во внимание мое имя, как литератора и путешественника, и ценя высоко услуги, оказанные мною отечеству, и прочие там любезности, он не может оставаться равнодушным к моему положению и имеет для этого один способ: есть у него казенный слон, подаренный одним соседним беем. Слона этого ему предписано продать, и он уже отдал его купцу, привезшему мое письмо, а тот обещал за это меня выкупить. Так меня и обменяли... на слона!

– А когда же ваша женитьба состоялась? – спросила княгиня. В противоположность мужу, ее более интересовала поэтическая сторона плена N...

– А вот в этот промежуток времени, между

моим пленом и освобождением.

– Однако позвольте! – возразила вдруг княгиня, прищурив глаза. – Тут для меня есть маленькое недоразумение. Вы говорите, что вас взяли в плен бедуины, а женились вы между тем на мавританке, тогда как одно племя кочующее, а другое – оседлое...

(Из этих слов читатель может видеть, до какой степени княгиня была учена.)

– О бог мой! – воскликнул ей на это N... – Это по географии ведь только так!.. На самом же деле, бог знает какое племя, мавританское или бедуинское племя – только с теми же воинскими наклонностями, с тою же дикостью нравов.

Марсов при этом опять незаметно для других насмешливо улыбнулся; но княгиня осталась довольна этим объяснением.

– Подробности вашего брака? – спросила она уже несколько лукавым голосом.

– Подробности очень обыкновенны! – протянул N... (он в это время придумывал). – Очень даже обыкновенны! – повторил он. – Приходит ко мне раз с моим толмачом мальчик из туземцев, чрезвычайно красивый из себя,

по обыкновению бритый, с чубом на голове, как у наших малороссиян. «Не желаешь ли, говорит, князь, жениться?» Я посмотрел на него. «У меня есть сестра красавица. Князь, можешь жениться на ней на месяц, на два, на год».

– И вы женились? – заметила княгиня укоризненно.

– Женился!

– На месяц, на два? – продолжала княгиня насмешливо.

– Нет, на два года.

– Не верю! – возразила княгиня, кивнув отрицательно головой.

– Уверяю вас! – сказал искренним голосом Н... – Довольно странен обряд их венчанья: если вы женитесь на полгода, вас обводят полукруга, на год – целый круг, на два – два круга.

– Кто же это венчает у них? – спросил почти озлобленным голосом Марсов.

– Мулла: они – магометане! Совершенно как у нас в Крыму: вы можете на татарке жениться на месяц, даже на неделю, – отвечал, не запнувшись, Н... (Он собственно только и слышал, что нечто подобное в Крыму будто бы

существует.)

– Скажите, вы вашу жену там на родине и оставили? – продолжала княгиня.

– Нет, я ее привез в Европу, и надобно было видеть восторг этого ребенка всему: и кораблю, и городам нашим, и дилижансам; на каждом почти шагу она вскрикивала, смеялась, хлопала в ладоши; в Париже перед каждым дамским магазином она решительно замирала и все мне говорила: «Как бы хорошо это украсть!»

– Как украсть? – воскликнули в один голос оставшиеся слушать N... дамы.

– А так украсть, – отвечал он им с лукавой улыбкою.

– Очень просто, я думаю, – разрешила княгиня, – воровство у них, вероятно, считается никак не пороком, а добродетелью.

– И очень большою... Старшины их обыкновенно говорят: «Я старшина, потому что украл сорок жеребцов и тридцать маток».

Лицо княгини между тем приняло опять серьезное, чтобы не оказать строгое, выражение.

– Где ж теперь жена ваша? – спросила она,

уставляя на N... пристальный взгляд.

– В могиле! – отвечал он со вздохом и понурил голову. – В Лондоне мне надобно было долго пробыть для подробного описания начинающего там устраиваться пароходного завода; она не перенесла климата и умерла.

– Mais on dit, que vous aviez un enfant de cette femme?[9] – продолжала княгиня тем же строгим голосом. Дамы, как известно, о всех хоть сколько-нибудь вольных предметах предпочитают говорить по-французски, будучи твердо уверены, что этот благородный язык способен облагородить все, даже неблагородное.

– Oui! – отвечал ей в тон по-французски N... – Но и ребенок вскоре вслед за матерью отправился, – прибавил он опять с печалью.

– Monsieur! – начала одна из оставшихся его слушать дам, покраснев до конца своих хорошеньких ушей и, видимо, сжигаемая с одной стороны любопытством, а с другой – стыдом. – Dites moi, de quelle couleur etait votre enfant?[10]

– Cafe au lait![11] – отвечал N... и при этом сам даже не мог удержаться и засмеялся.

Марсов этого уж не выдержал. Он встал, порывисто поклонился общим поклоном всему обществу и, проговорив лаконически: «Прощайте-с!» – вышел какой-то угрожающей походкой.

Всю Поварскую и Никитскую он шел, погруженный в глубокую задумчивость, и все что-то шептал про себя; человек этот всю свою молодость воспитал в мудром уединении, и при этом, имея от природы слоновую наружность и густой, необразованный голос, он в обществе был молчалив и застенчив до дикости, но так как от природы был наделен сильной фантазией и живым воображением, то любил поговорить дома, особенно выпивши (несчастливая привычка, полученная им еще в бурсе: Марсов происходил из духовного звания), и поговорить по преимуществу в присутствии Гани, женщины из простого звания и хоть не освященной браком, но тем не менее верной и нежной его подруги. В глазах ее он как бы постоянно хотел казаться окруженным ореолом и метящим стрелы красноречия на диспутах, которые будто бы он имел с разными господами воен-

ными и статскими (уважение к диспутам в нем тоже осталось от семинарии: «Они изощряют ум, волнуют сердце благороднейшими страстями и укрепляют характер человека!» – говаривал он). Последний случай у князя, конечно, послужил обильнейшим источником для беседы на эту тему. Почтенный педагог, придя к себе в квартиру и едва переменив свой синий фрак на покойный и засаленный халат, сейчас же воскликнул:

– Ганя, водки!

Его вульгарный желудок даже и не помнил о тех гастрономических сокровищах, которые он сейчас только проглотил, и вовсе не считал за святотатство отравить все это сивухой. Ганя (претолстое и предобродушнейшее существо), зная хорошо привычки своего патрона, немедля поставила перед ним огромный графин водки, пирог с говядиной и луком и сама села тут же рядом чай пить.

– Выпил бы наперед чайку-то! – сказала она.

– Выпью! – отвечал профессор и вместо того выпил рюмку водки, закусил ее пирогом, потом еще рюмку и еще рюмку.

Впечатление лжи человеческой на этот раз очень сильно подействовало на Марсова: рот его перекосячился, или, как выражались хорошо знавшие своего наставника студенты, застегнулся на правое ухо, что всегда означало, что этот добрый человек находился в озлобленном и насмешливом расположении духа.

– Видел я, сударыня, путешественника знаменитого! – отнесся он к Гане, качнул затем головой и сделал такую мину, что Ганя сразу поняла, как держать себя в этом разговоре.

– Мало ли их, знаменитых! – сказала она с насмешкой.

– Именно... мало ли!.. – подхватил Марсов и захохотал громким каменным смехом. – Знаешь, как трещотка: тр-тр-тр... А я – нет, погоди, барин, постой! И начал ему в колесо-то гвозди забивать – раз гвоздь, два, три...

Читатель видел, как почтенный педагог скромно и умеренно это делал. Но Ганя притворилась, что всему этому верит, и даже как будто бы обеспокоилась этим.

– Да тебе что за дело? Везде вяжется?..

– И вяжусь! – расхорохорился Марсов. – Я

ему сказал, что он лжец! (Многоуважаемый педагог, может быть, думал это, но мысли его, как знаем, решительно не перешли в звуки.) Я диспутировать могу, – продолжал он, – ставь мне свое положение, я обстреливаю его со всех сторон. Я ставлю мое – стреляй и ты! А что это-то тр-тр-тр, так я их заторможу – стой!

– Вот этак ты и старшим-то тормозишь, и не дают до сих пор генерала! – возразила Ганя.

Гане и самому Марсову ужасно хотелось, чтобы он был генерал.

– И буду им тормозить: врут они! (В сущности Марсов никому из начальства слова грубого не сказал.) Теперь Михайло Смирнов генерал, а чья голова крепче – его или моя?

– Кто вас знает! – возразила Ганя. – У обоих крепка, по штофу выпьете – ничего!

Старик улыбнулся.

– Дура!! – сказал он протяжно. – Речь Михайла Смирнова – ветер палящий, на воображение слушателей играющий, а мое слово – молот железный, по мозгу бьющий.

– Ой, да больней молотом-то, чем ветром.

– Зато прочней! – повторил несколько раз

старик.

Ганя поспешила подавать ужинать, но ей долго еще пришлось послушать, как Марсов гвозди вбивал в рассказы путешественника.

Хороший был человек, справедливый, честный, а дома все-таки прихвастнуть любил.

VI

Сентименталы

Чем человек может лгать?.. Тем же, чем и согрешать: словом, делом, помышлением – да, помышлением!.. Человек может думать, чувствовать не так, как свойственно его натуре. Карамзин, например, был прекрасный писатель, но привил к русскому человеку совершенно несродный ему элемент – сентиментальность!.. Из любви мы можем зарезать, зарезаться, застрелить, застрелиться, но ходить по берегу ручья с цветком в руке и вздыхать – не станем! У нас девушка, кинутая своим любовником, поет:

*Изведу себя я не зельем и не снадобьем,
Изведу я горючими слезами.*

Другая, любовница разбойника, говорит, что ей в тюрьме быть:

*А за то ль, про то ль,
Что пятнадцати лет на разбой
пошла.
Я убила парня белокурова,*

*Из груди его сердце вынула,
На ноже сердце встrepенулося,
А я ж млада усмехнулась!*

Совсем уж мы не сентиментальный народ: мы – или богатыри, или зубоскалы.

Но в нашем читающем обществе сентиментальность была. Сам ядовитый Вигель[12] – читатель, конечно, прочел его умные записки – был, сколько можно заметить, не чужд этого фальшивого чувства. Прекрасным тогда все восторгались. Франты того времени обожали даже это прекрасное в себе подобных, и это обожание, положительно можно сказать, шло в нашем обществе рука об руку с сентиментальностью.

Выбранные мною экземпляры, кажется, довольно яркие и рельефны для выражения того, что я хочу сказать.

Матушка моя, не знаю почему, всегда очень любила, чтобы я знакомился с женщинами умными.

– Друг мой, – говорила она мне однажды с лукавой нежностью, – когда ты сделаешь для меня это одолжение и съездишь к Доминике Николаевне?

Доминика Николаевна, девица лет сорока шести, была большая любительница читать книги и жила у себя в усадьбе, по ее словам, как канарейка в клетке.

– Когда ты, помнишь, писал ко мне твое милое, длинное письмо, – продолжала матушка, – она была у меня, я при ней получила его и дала ей прочесть; читая его, она, без преувеличения, заливалась слезами. «Дайте, говорит, мне видеть эту руку, которая начертала эти смелые строки!»

Мне в это время было лет восемнадцать. Я был студент и действительно в этот год отмахал матушке длинейшее письмо, в котором, между прочим, описывал Кремль и то, как царица Софья Алексеевна вывела перед бунтующим народом царевичей Иоанна и Петра и как Петр при этом повернул на голове корону и сказал: «Как повернул я эту корону, так поверну и стрельцов!» Относительно душевного моего настроения надо объяснить, что я в это время был влюблен в одну из жесточайших моих кузин и жаждал иметь друга-женщину, с которой мог бы поделиться своими печальными мыслями. Доминика Николаевна, по

всем тем представлениям, которые я об ней составил, могла, казалось мне, быть таким другом. Она – девушка умная и по выражению лица моего поймет, что волнует и терзает мою душу, спросит меня о том, и я ей скажу все, скрывать мне нечего: чувства мои не преступны. Поехал я. Дорогою мечтательное мое настроение все больше и больше росло. Мне представлялось уже, что я лежу тяжело больной у Доминики Николаевны и она тайком проводит ко мне жестокую кузину, которая становится на колени перед моей кроватью и умоляет меня возвратиться к жизни.

– Поздно, – говорю я ей слабым голосом, – это вы меня привели ко гробу.

Читатель, конечно, видит, что и в моих мечтаниях была значительная доля буколического.

Домик, или клетка, Доминики Николаевны начинался небольшим прирубным, полуразвалившимся крылечком. Я вошел по нем. В передней встретил меня старый лакей, с очками на носу и с чулком в руке.

– У себя Доминика Николаевна? – спросил я

его с некоторою строгостью, как вообще спрашивают люди, когда приезжают туда, куда их ждут.

– Оне в поле вышли-с, сейчас придут, – отвечал лакей.

В зале мне первое бросилось в глаза крашеное дерево с жестяными крашеными листьями, по веткам которого было посажено огромное количество чучелок колибри. Дерево, как нарочно, стояло перед открытым окном, из которого виднелись настоящие деревья и светило летнее солнце. Сопоставление этой поддельной Австралии с живой природой меня неприятно поразило; так и хотелось это мертвое дерево с его мертвыми птичками вышвырнуть куда-нибудь. По самой длинной стене комнаты стояло открытое фортепьяно. На нем развернут был романс, из которого я теперь только и помню два стиха:

*Что в сердце есть жестокие
страданья,
И тем я с ранних лет безмолвно
изнывал.*

Мне захотелось сесть. Я прошел в гостиную. Там вышивался огромный ковер. Узор

представлял поэтического Малек-Аделя[13], отбивающегося от двух рыцарей. Искусства и старания на вышиванье было употреблено пропасть: брови и усы сарацина сверх шерстей были даже, кажется, тронуты краскою, красный плащ с левого плеча его спускался бесконечными складками; конь отличался яростию и бешенством, и особенно эффектно выставлялись две его, слегка красноватые ноздри. Рыцари замечательны были своими наклоненными позами к Малек-Аделю. По стенам гостиной развешаны были гравюры, изображающие пастушков и пастушек с пасущимися стадами; мебель была не новая, но довольно мягкая; на свечах висели абажуры – все это, если хотите, было довольно уютно, но чересчур уж как-то грязновато, и от всего точно пахнуло какой-то сухой травой.

Послышался, наконец, шелест женского платья и женский, несколько дребезжащий голос:

– Очень, очень рада!

Доминику Николаевну предуведомили уже о моем приезде. Она вошла в гостиную, свернувши несколько голову набок; в костля-

вых руках ее, заключенных в шелковые а жойг [14] перчатки, она держала зонтик; на голове у ней была полевая соломенная шляпка. Как бы в прямое противоречие этому летнему костюму, к щеке Доминики Николаевны была привязана ароматическая подушечка; кроме того, делая мне книксен, она махнула подолом платья и обнаружила при этом, что была в теплых шерстяных ботинках. Я, по тогдашней моде, подошел к ней к руке. Она на это мне поспешно сдернула с руки перчатку а жойг.

– Благодарю вашу матушку и вас! – сказала она, кидая на меня отчасти нежный и отчасти покровительственный взор.

– Усядемтесь, – прибавила она в заключение.

Уселись.

Доминика Николаевна несколько времени осматривала меня с головы до ног.

– Хорошо ли вы, во-первых, учитесь? – спросила она.

Я обиделся.

– Хорошо-с! – процедил я сквозь зубы.

Доминика Николаевна закатила глаза

вверх.

– Я читала ваше письмо: перо превосходное, мысли возвышенные!

Я помирился несколько с ней.

– Вы застали меня, – продолжала Доминика Николаевна с глубоким вздохом, – убитую горем и болезнью...

Я молчал.

– Дмитрий Дмитрич... вы, конечно, его знаете?

– Знаю-с!

– Он получил еще новый удар от своих врагов: его опять хотели посадить в тюрьму.

В печальном выражении лица Доминики Николаевны была видна и насмешка и грустное презрение к людям.

– Но, вероятно, он как-нибудь избежит от этого, – произнес я.

– Друзья его, конечно, не допустили; я вот это мое имение заложила и внесла за него.

Дмитрий Дмитрич, как все это знали и чего она сама не скрывала, был друг ее сердца.

– Вот вам всем, молодым людям, – продолжала она, – этот человек образец, который имеет все достоинства.

Дмитрий Дмитрич в самом деле имел много достоинств: всегда безукоризненно и по моде одетый, с перетянутой, как у осы, талией, с тонкими каштановыми и уже с проседью усами и с множеством колец на худощавых руках – Дмитрий Дмитрич был сын какого-то важного генерал-аншефа. Воспитывал его французский граф, эмигрант и передал впечатлительному мальчику все свои добродетели и пороки. Сначала Дмитрий Дмитрич служил в гвардии, танцевал очень много на балах, потом гулял на Невском уже в штатской бекеше и, наконец, вдруг вследствие чего-то выслан из Петербурга с обязательством жить в своей губернии.

– По четырнадцатому декабря замешан, – говорили сначала про него таинственно.

Сам Дмитрий Дмитрич по этому поводу больше или отмалчивался, или делал гримасу.

Все раскрывающее время, впрочем, дало и другого рода толкование сему обстоятельству, и впоследствии, когда кто-либо из приезжих спрашивал какого-нибудь туземца, за что Милин (фамилия Дмитрия Дмитрича) выслан из

столиц:

– Выслан-с он... – отвечал туземец, и если при этом была жена в комнате, он говорил ей: «Выдь, душа моя!» Та выходила, туземец что-то такое тихо говорил приезжему, тот делал знак удивления в лице.

– Неужели? – восклицал он.

– Говорят! – отвечал грустным голосом хозяин.

Дмитрий Дмитрич наследовал после отца хорошее состояние, но, к несчастью, имел два совершенно противоположные качества: прожить деньги он знал тысячи миллионов способов, но наживать их – ни одного; он даже в карты играл только с дамами, и то в бостон, и то всегда проигрывал; а между тем он любил принять ванну с дорогими духами, дом у него уставлен был превосходными, почти редкими, растениями... Дмитрий Дмитрич был дамский, а с другой стороны, и совершенно, пожалуй, не дамский кавалер. Для поправления обстоятельств своих он мог только занимать деньги. Способ этот и навлек ему впоследствии столько врагов, о которых упоминала Доминика Николаевна.

– Он у меня будет сегодня, вы его не узнаете: несчастье сломило и этого могучего человека, – проговорила она.

Я очень хорошо понял, что с Доминикой Николаевной можно только говорить об ее собственных чувствах, а потому, отложив всякую надежду побеседовать с ней о кухне, стал невыносимо скучать и молил бога, чтобы по крайней мере поскорей явился Дмитрий Дмитрич. Часов в восемь он приехал, развалясь в коляске, на четверне каких-то кляч и тоже в соломенной шляпе и летнем пальто и башмаках.

Лицо Доминики Николаевны осветилось. Она пошла навстречу Дмитрию Дмитричу скорее какой-то торжественной, чем радостной походкой. Я не пошел за ней, но в зеркале видел их первую сцену свидания. Дмитрий Дмитрич взял и по крайней мере раз двадцать поцеловал руку Доминики Николаевны.

– Добрый друг, вы все для меня сделали! – проговорил он, наконец.

В голосе его как будто бы слышались слезы.

– И делается это для доброго друга, – отвечала Доминика Николаевна с какой-то знаменательностью, затем прежней торжественной походкой ввела Дмитрия Дмитрича в гостиную.

– Bonjour! – проговорил он, мотнув мне головой, и сел.

Доминика Николаевна села против него.

– А propos[15], сейчас сюрприз, – начал Дмитрий Дмитрич и потом крикнул довольно громко: – Cher Назар!

На этот зов вошел в комнату красивый из себя лакей в казакине и перетянутый поясом, сплошь выложенным серебром с чернетью. Усы и волосы у него были совершенно черные, на руках было множество колец, а из-за борта казакина выставлялась толстая золотая цепочка.

– Подай, знаешь, это!.. – проговорил Дмитрий Дмитрич.

Лакей вышел и, возвратясь, принес клетку, в которой сидели два кролика.

Доминика Николаевна вдруг вскочила и начала перед ними прыгать.

– Ах, как это мило, прелесть, прелесть!

– На шейке у них розовые ленточки! – проговорил лакей.

Доминика Николаевна вдруг переменяла выражение в лице и посмотрела на него строго. Лакей, кажется, это заметил и с какой-то насмешливой улыбкой замолчал; а потом, постояв немного, совсем вышел из комнаты, не переставая усмехаться про себя. Доминика Николаевна все еще продолжала прыгать перед кроликами.

– Взамен этого я иду вам показать мои цветы! – сказала она Дмитрию Дмитричу. – Молодой человек, вы тоже должны за нами следовать, – прибавила она мне развязно.

Я пошел.

Садишко был обыкновенный, очень запущенный, цветы даже не прополоты; но главная сущность состояла в том, что Доминика Николаевна сорвала одну из роз и прикрепила ее в петлю Дмитрию Дмитричу.

Всю эту прогулку они совершили под руку. Моя юношеская брезгливость невольно возмущалась этим. «Все-таки этот господин, – думал я, – был человек светский, видал же он женщин красивых и, вероятно, сближался с

ними, каким же образом он мог так близко переносить около себя подобное безобразие».

Когда мы возвратились в комнаты, нас ожидал чай, или, как выразилась Доминика Николаевна, супе фруа[16], состоящий из протухлой солонины и плохого масла. Дмитрий Дмитрич принялся с большой жадностью есть варенье. Для меня, собственно, Доминика Николаевна велела принести кринку превосходнейшего молока и при этом рассказала все высокие достоинства надоившей его коровы. Напрасно я с божбой и клятвой уверял ее, что терпеть не могу этого аркадского напитка, – меня заставили выпить стакан. Сама Доминика Николаевна и Дмитрий Дмитрич тоже выпили по стакану. Можно быть почти уверену, что они восхищались молоком единственно потому, что в их романических головах непременно соединялись вместе: деревня, молоко, ручеек, овечка, и, кроме того, так еще недавно французская королева держала у себя в Трианоне коров и сама снимала сливки. После чаю я сейчас же хотел ехать.

– Подождите четверть часа, поедемте вместе, – остановил меня Дмитрий Дмитрич.

– А вы не останетесь у меня? – спросила Доминика Николаевна, и как бы молния блеснула из ее глаз.

– Завтра у меня покос, молотьба... – отвечал Дмитрий Дмитрич несколько сконфуженным голосом.

Когда они говорили это, мы выходили уже на балкон. Доминика Николаевна села там на небольшой диванчик, а Дмитрий Дмитрич довольно далеко от нее на стул. Я пошел бродить по саду. Долетавший до меня разговор между ними был довольно незначительный.

– Вы знаете, в прошлое воскресенье в Веденском ваш Назар опять был пьян! – говорила Доминика Николаевна.

– Может быть! – отвечал Дмитрий Дмитрич равнодушно.

– Вы говорите, что он пьет только красное вино; он напился просто водкой, – продолжала Доминика Николаевна насмешливо.

– Очень жаль, – отвечал Дмитрий Дмитрич тем же равнодушным голосом.

Далее я уже ничего не слышал, но когда возвратился назад, то увидел, что Доминика Николаевна почему-то лежала в обмороке, и

около нее хлопотал Дмитрий Дмитрич. Он поливал ей голову водой, уксусом. Пришел также и Назар и довольно близко остановился около дивана, на котором лежала Доминика Николаевна. При этом одна из ее ног сначала согнулась, а потом вдруг вытянулась и толкнула Назара так, что тот попятился и с прежней своей насмешливой улыбкой вышел из комнаты.

После этого Доминика Николаевна опять как бы впала в обморок, Дмитрий Дмитрич опустился на стул и в утомлении закрыл лицо руками. Несколько времени все мы молчали. Доминика Николаевна открыла, наконец, глаза.

– Где я? – проговорила она.

– У себя на балконе, – отвечал Дмитрий Дмитрич.

Доминика Николаевна начала подниматься, как поднимаются обыкновенно в театре актрисы после обморока. Дмитрию Дмитричу, кажется, сделалось совестно за нее; он отвернулся и не смотрел на нее. Чтобы не мешать разговору, который мог между ними начаться, я снова сошел в сад, и когда возвра-

тился оттуда, Дмитрий Дмитрич стоял уже со шляпою в руках. Доминика Николаевна сидела, как разваренная в воде: волосы у нее спускались на лоб, голова была опущена, руки опущены.

Когда я с ней прощался, она с чувством взглянула на меня.

– Мой добрый привет вашей матушке, – проговорила она больным голосом.

Когда с ней прощался Дмитрий Дмитрич, она подала ему, точно плеть, слабую руку и, кажется, не имела даже силы ответить ему поцелуем в щеку.

Мы вышли и сели в экипаж. Дмитрий Дмитрич упросил меня сесть с ним.

– Фу, – произнес он, как бы человек, вырвавшийся из тюрьмы на свежий воздух.

– Что такое с Доминикой Николаевной? – спросил я.

Дмитрий Дмитрич пожал плечами.

– Вы видели? – отвечал он мне больше вопросом. – Подобные сцены, – продолжал он с расстановкой и грустно-насмешливым голосом, – она делает мне на бале, на рауте, при двухстах, трехстах человек...

– Зато какую она к вам искреннюю дружбу питает!

– Mais, mon cher![17] – воскликнул Дмитрий Дмитрич. – Дружба, я полагаю, все-таки должна выражаться со стороны женщин скорей самоотвержением, чем тиранией. Она, наконец, хочет войти во весь порядок моей жизни, заставить там меня пить чай или нет, держать в доме таких людей, а не других; этого нельзя. Назар! – крикнул он затем сладким голосом. – Дай мне сигару!

Назар, сидевший на козлах рядом с кучером, вынул из-за пазухи сигару, сам закурил ее и подал барину. Дмитрий Дмитрич взял и с наслаждением стал попыхивать из нее дымом.

– У человека вашего физиономия совсем не русская! – заметил я ему.

– Да, il est... je ne sais pas pour sur...[18] армянин, или грузин, или черкес – не знаю... но превосходный человек... чудо... это мой эконо-м, нянька, мамка моя! – И затем Дмитрий Дмитрич опять стал с наслаждением попыхивать.

– Encore un mot об Доминике Николаевне, –

начал он, – tout le monde dit, que je suis son
amant...[19]

Я улыбнулся.

– Mais ce n'est pas vrai[20]. Я люблю изящное в природе, в картине, в поэзии, в мужчине, в женщине. Но Доминика Николаевна каким образом может быть отнесена к изящному?

– Какое же, собственно, ваше чувство к ней? – спросил я. По молодости моих лет я любил тогда потолковать о психологической стороне человека и полагал, что люди так сейчас и скажут в этом случае правду.

– Чувство простого уважения, – отвечал Дмитрий Дмитрич, – которое я имею ко всякой женщине, равной мне по воспитанию и по положению в обществе; это – результат моих привычек. Я – человек, порядочно воспитанный, и чувство вежливости всосал с молоком моей матери.

На этих словах мы уже подъезжали к перекрестку, на котором должны были разъехаться; я попросил остановиться и выпустить меня.

– Adieu, cher ami[21], – сказал Дмитрий

Дмитрич, пожимая мне с нежностью руку. – Назар, пересядь ко мне в экипаж! – крикнул он потом.

Назар пересел, и я видел, что Дмитрий Дмитрич прилег ему на плечо, как бы желая вздремнуть. Поехали. Утро между тем совершенно уж наступило. Пара моих лошадей после поворота, узнав дорогу домой, побежали быстрее, на меня подуло свежим ветром; с реки подымался густой туман росы; выкатившееся на горизонте солнце было такое чистое, на деревьях, на траве блестели крупные капли росы – все это было как-то молодо, здорово и полно силы, и как вся эта простая природа показалась мне лучше изломанных людишек, с их изломанными, исковерканными страстишками!

Когда я дописывал эти последние строчки, мне сказали, что приехал старик кокинский исправник[22] и желает меня видеть.

– Боже мой, – воскликнул я в восторге, – его-то мне и надо! – и пошел навстречу гостю.

Старик очень постарел, сделался совсем плешивый, глаза у него стали какие-то слезливые, но говорун, как видно, оставался по-

прежнему большой.

– Скажите, пожалуйста, – начал я, усаживая его, – живы ли ваши соседи, Доминика Николаевна и знаменитый Дмитрий Дмитрич?

– Он помер, а она еще жива.

– Что ж, страсть их все продолжалась?

– Как же-с, до самой смерти его все путались, ссорились и мирились, видались и не видались.

– Он, однако, мне сам говорил, что не был ее любовником.

– Нет-с, не был; людишки вот ихние часто тоже бегали к нам и сказывали, что она, как они выражаются, одной этой сухой любовью его любила... он ведь в этом отношении, вы слышали, я думаю...

– Ну да, из-за чего же он-то?

– Из-за денег больше, надо полагать, говорил и делал ей эти разные комплименты. После ссоры, бывало, помирятся, он станет перед ней на колени, жесты этакие руками делает, прощенья в чем-то просит – умора! Неглупые были оба люди, а уж какие комедианты и притворщики, боже упаси!.. Перед

смертью Дмитрия Дмитрича любимый камердинер его обокрал, все, какие там были у него деньжонки, перстеньки, часы, ковры, меха – украл и бежал, так что уж он и не разыскивал. Доминика Николавна перевезла его к себе, на ее руках он и помер; пишет мне: «Помогите, говорит, похоронить моего друга!» Приехал я к ней, сидит она на диване, глаза представляет как у помешанной, и все точно вздрагивает. «Сама, говорит, смерти хочу!» – а форточки, заметьте, не позволяет отворить: простуды боится. Покойник промеж тем лежит в зале; я скорей, чтобы его в церковь стащить; только мы, сударь, подняли гроб, она и вылетает. «Куда вы, говорит, моего ангела уносите? Не пуцу, не пуцу!» – и сама уцепилась за гроб и повисла. «Ах ты!» – думаю. «Хорошо, говорю, ребята, оставьте!» Оставили ей гроб, а сам ушел. Посидела она этак, целый день, однако, высидела, но видит – невтерпеж, опять шлет за мной.

– Унесите, – говорит, – теперь – можно.

VII

История о петухе

— Вот мы с вами вчера насчет комедиантов говорили, — начал старик Шамаев, пришедши на другой день ко мне обедать. — Становой у меня был, такой тоже актер, что какую, кажется, роль только хотите, он может разыграть перед вами; родом он был из хохлов, по фамилии Карпенко, и все это, знаете, в каждом слове, в каждом шаге своем делал лицемерство. Определяясь на службу, в стан приехал в самый храмовой праздник, народу собралось почти что со всего уезда. Не заходя никуда, господин Карпенко прямо в церковь и тихим голосом подзывает к себе церковного старосту. «В какую, говорит, икону народ больше веры имеет?» — «Феодоровской престол-то», — отвечает ему мужик. Он сейчас помолился перед этой иконой и первый ей свечку поставил. После обедни зашел в другое наше собрание — в кабак; пьяных там, как поле-ньев, по углам валяется. Вместо того чтобы велеть их подобрать, еще ободрил: «Пейте, го-

ворит, православные: рабочему человеку выпить надо!» По лавкам потом пошел, к каждому торговцу с поклоном и приговором: «В честь и в деньги торговать!..» – и так дальше пошло: тихо, смиренно, ласково, только никто что-то этому не верит. Ни одного безмена у торговцев не оставил, чтобы не оглядеть, клейменный ли он, да еще подсылы делает, верно ли продают. Где мертвое тело поднимут, точно стопудовая гиря свалится на селенье; сидит-сидит, пока пятидесяти, ста рублей не сдерет с мужиков; да потом их же соберет в сборную, прямо поднимет у них перед глазами с полу соринку: «Вот, говорит, мне чего вашего не надо». Те после и говорят: «Что, наши деньги-то он хуже соринки, что ли, полагает?» Слышу я все это, вызываю его к себе, говорю ему, вдруг он заплакал: «Слезы, говорит, мой ответ!» – «Ах, боже ты мой, думаю, мужчина, в кресте военном, плачет, что такое это?» В другой раз губернатор на него на ревизии напустился: «Почему, говорит, вас все не любят?» – «Мнителен, говорит, ваше превосходительство, я очень по службе!.. И себя мучу и другим не угождаю!» А губернатор, за-

метьте, сам был премнительный человек, и поверил ему... Это вот, изволите видеть, он – тихий, а то и строгим, крикуном иногда прикидывался. Едет он раз мимо одного села богатого, тысячи две душ... и только еще, знаете, в околицу-то въехал, закричал, загайкал... Сотские были народ наметанный, сбегаются, видят: сердит приехал! Прямо входит он в сборную и обращается к одному из них:

– Какое, – говорит, – было в селенье происшествие?

– Никакого, – говорит, – ваше благородие!

– Как никакого? Ах ты, – говорит, – земская полиция! – Трах его по зубам.

К другому сотскому – тот этак из рыжих, плутоватый случился.

– Какое? – говорит.

– Было, ваше благородие, Иван Петров там у Николая Михайлова, что ли, петуха зарезал!

– Позвать, – говорит, – Николая Михайлова!

Приходит мужик.

– Здравствуйте, – говорит, – батюшка!

– Здравствуй, – говорит, – братец; все ли у тебя в доме благополучно?

– Все, батюшка, кажись, слава богу.

– Погляди-ка на образ!

Смотрит мужик.

– И не совестно тебе и не стыдно? Не отворачивай глаз-то, нечего!..

– Да что мне, сударь, отворачивать!

– Как что, а черный-то петух где?

Мужик, знаете, и рассмеялся.

– Подлец Ванька, – говорит, – надругатель, зарезал!

– А объявил ты о том земской полиции?

– Что, сударь-с, – говорит, – объявлять!..

– Как что?.. У тебя сына зарежут, ты скажешь: что объявлять!..

– Батюшка! – говорит мужик удивленный. – Разве сын и петух все одно и то же?

– Одно и то же! Прочтите, – говорит он это писарю уж своему, – статью, где сказано, что совершивший преступление и покрывший его подвергаются равному наказанию!

Прочитали мужику; стоит он разиня рот. Сотские между тем шепчут ему:

– Видишь, – говорят, – сердит приехал; поклонись ему червонцем!

Поклонился мужик – освободили.

– Ну, теперь, – говорят, – убийцу давайте.
Приводят мужика; бойкий такой был, и
прямо к руке господина станового.

– Прочь! – крикнул тот на него. – От тебя, –
говорит, – кровью пахнет!

Отошел мужик.

– Как, – говорит, – ты смеешь производить
дневной грабеж с разбоем?

– Я, – говорит, – сударь, никого не грабил!

– Как никого? А петух Николая Михайлова
где?

– Николая Михайлова петуху, – говорит мужик, – я
завсегда голову сверну – он у меня все подсолнечники
перепортил!

– Ну так, – говорит ему Карпенко, возвысив
уже голос, – я тебе прежде голову сверну. Эй!
Колодки!

Струсил и тот парень; сотские и ему шепчут:

– Видишь, – говорят, – сердит; поклонись
красненькой!

Стал мужик кланяться, так еще не берет
господин становой. Он в ноги ему повалился:
«Возьми, батюшко, только!» Принял.

Я после услышал это; приезжаю, спраши-

ваю мужиков:

– За что, – говорю, – дураки, вы деньги ему давали?

– Да что, батюшка, – говорят, – сами видим, что одно только его надругательство над нами было, только то, что горячиться он очень изволил, как бы и настоящее дело шло... Думаешь: прах его возьми, лучше отступиться!

Слушая Шамаева, я предавался довольно странным мыслям: мне казалось, что и он все это лжет и выдумывает для моей потехи. «Да, старичок, – думалось мне, – и ты сумеешь разыграть сцену, какую только захочешь...» Наконец, сам-то я... автор? Правду ли я все говорю, описывая даже этих самых лгунов?

VIII

Красавец

Народы дикие более всего ценят в человеке силу, ловкость и красоту физическую; народы образованные... нет, впрочем... и народы образованные очень ценят это: кто не помнит того времени у нас, когда высокий рост, тонкая талия и твердый носок делали человеку карьеру? Даже в высокопросвещенной Европе Леотар[23] любим и почитаем женщинами. Весьма многие дамы, старые и молодые, до сих пор твердо убеждены, что у красивого и статного мужчины непременно и душа прекрасная, нисколько не подозревая в своем детском простосердечии, что человек своим телом так же может лгать, как и словом, и что весьма часто под приятною наружностью скрываются самые грубые чувственные наклонности и самые низкие душевные свойства.

На эту тему нам придется рассказать очень печальный случай.

Наступали уже сумерки... В воздухе разда-

вался великопостный звон к вечерне; но была еще масленица, и вокруг спасовходского монастыря, в губернском городе П..., происходило катанье. В насмешке над уродливостью провинциальных экипажей столько моих братьев притупило свои остроумные перья, что я считаю себя вправе пройти молчанием этот слишком уж опозоренный предмет и скажу только, что во всем катании самые лучшие лошади и сани были председателя казенной палаты (питейная часть, как известно, переносящая всегда на своих жрецов самые благодетельные дары, была тогда еще в прямом и непосредственном заведывании председателей казенных палат). В санях этих сидели две молодые дамы: одна в прекрасной шляпке и куньем салопе, с лицом, напоминающим мурильевских мадонн, в котором выражалось много ума и чувства; другая была гораздо хуже одета, с физиономией несколько загнанной, по которой сейчас можно было заключить, что она гораздо более привыкла слушать, чем сама говорить. Первая была молоденькая жена председателя, а вторая – ее компаньонка. Хорошенькие глаза хорошень-

кой председательши беспрестанно направлялись в одну из боковых улиц.

– Александр Иваныч выехал не оттуда-с! – проговорила, наконец, ее компаньонка.

Председательша сейчас же перекинула взгляд на ее сторону. К ним подъезжал верхом на карабахском жеребце высокий, статный мужчина, и хоть был в шляпе и статской бекеше, но благородством своей фигуры, ей-богу, напоминал рыцаря. Конь не уступал седоку: около красивого рта его, как бы от злости, была целая масса белой пены; он беспрестанно вздрагивал своим нежным телом... Ему, казалось, хотелось бы и взвиться на дыбы и полететь, и только опытная, смелая рука, его сдерживавшая, заставляла его идти мелкой и игривой рысью.

Господин этот назывался Александр Иванович Имшин. Он подъехал к нашим дамам.

– Хорошо, хорошо – так поздно!.. – говорила председательша в одно и то же время ласковым и укоряющим голосом.

– Я объезжал в поле Абрека; он ужасно у меня сегодня шалил, – отвечал Имшин и ударил коня по шее; тот еще заметнее вздрогнул

телом своим и еще ниже понурил голову. –
Что ваш муж? – спросил Имшин.

– Спит! – отвечала председательша.

Она уже с красивого наездника не спускала глаз.

– Стало быть, покоен? – продолжал тот.

– Он еще ничего не знает. Я буду кататься до самых поздних сумерек и заеду к вам!

Имшин, в знак согласия, мотнул головой; затем, сделав лансаду, повернул лошадь так, что поехал не по направлению катанья, а навстречу ему, и через несколько минут очутился в самом заднем ряду. Там, между прочим, ехала отличнейшая пара лошадей в простых пошевнях, в которых сидела толстая женщина в ковровом платке с красно-багровым лицом и девочка лет тринадцати – четырнадцати, прехорошенькая собой.

– Выехали? – спросил их Имшин ласково.

– Да-с! – отвечала толстая женщина.

– А тебе, Маша, весело? – спросил он девочку.

– Весело-с! – отвечала та с вспыхнувшим лицом.

Имшин дал шпоры лошади и опять стал

нагонять председательские сани.

– Уж темнеет! – сказал он.

– Да, теперь можно! – отвечала председательша и не совсем твердым голосом сказала кучеру: – Выезжай!

Кучер выехал и, зная, вероятно, куда ехать, не ожидал дальнейших приказаний и поехал в ту сторону, в которую при начале катанья госпожа его беспрестанно смотрела. Лошади побежали самой полной рысью; Имшин поспекал за ними. Молодой человек этот, будь он немножко не то, далеко бы ушел: еще в корпусе, при весьма ограниченных способностях, он единственно за свою красоту предназначен был к выпуску в гвардию; но в самом последнем классе, в самое последнее время, у него вышла, тоже по случаю его счастливой наружности, история с одним мужем, который хотел его вышвырнуть в окно, а Имшин его вышвырнул, и, как молодым юнкером ни дорожили на службе, однако послали на Кавказ; здесь он тоже, говорят, опять по решительному влиянию жены полкового командира на мужа, получил солдатского Георгия, офицерский чин, шпагу за храбрость и вышел

в отставку. Как большая часть красивых людей, Имшин говорил мало, а больше своею наружностью и позами, к нему идущими, старался себя запечатлеть в душе каждого. Губернские дамы принялись в него влюбляться, как мухи мрут осенью, одна за другой, беспрерывно. Молоденькая жена председателя, Марья Николаевна Корбиева, прелестнейшее существо, в первое же отсутствие мужа в Петербург впала с ним в преступную связь. Искания со стороны Имшина в этом случае были довольно непродолжительны; он несколько балов потанцевал с этой милой женщиной исключительно, а потом, в один из безумно шумных вольных маскарадов, они как-то очутились вдвоем в довольно отдаленном углу. У Имшина случайно поднялся рукав фрака, и оказалось, что на руке у него был надет браслет.

– Это у вас браслет? – спросила председательша, стораемая каким-то внутренним огнем.

– Браслет.

– Женщины?

– Да.

– И дорог вам по воспоминанию?

– Очень.

Председательша надулась.

– Хотите, я его сниму для вас?.. – несколько протянул Имшин.

– Для меня?

– Да! Если только вы полюбите меня за это.

Имшин был очень смел с женщинами.

– Ну, снимите! – ответили ему.

Имшин снял браслет и подал его председателюше.

– Я не имею на него права, – сказала она, отстраняя от себя браслет рукою.

– В таком случае я его выброшу в окно...

И Имшин встал, отворил форточку у окна и выбросил в нее браслет.

Внутренний огонь председателюши выступил у ней на личико, осветил ее глазки, которые горели, как два черные агата.

– Когда ж доказательства вашей любви? – спросил Имшин.

– Когда хотите.

– Сегодня я могу к вам заехать?

– Нет, это слишком будет заметно для людей.

– Ну, так завтра?

– Хорошо.

Имшин встал и отошел от председательши. Через полчаса она уехала из маскарада. От переживаемых ощущений с ней сделалась такая лихорадка, что она едва имела силы сесть в карету.

Последнее время страсть ее к своему избранному возросла до размеров громадных: она, кажется, только и желала одного, чтобы как-нибудь сесть около него рядом, быть с ним в одной комнате; на вечерах у них, когда его не было, она то и дело взглядывала на входную дверь; когда же он являлся, она обыкновенно сейчас же забывала всех остальных своих гостей.

– Entrez![24] – говорил Имшин, ловко соскакивая с лошади и обращаясь к дамам, когда они подъехали к крыльцу его.

Те вышли из саней и стали взбираться по лестнице.

– Лестница моя крута, как Давалагири[25], – говорил он, следуя за ним.

Внутренность квартиры молодого человека была чисто убрана на военную ногу. В зале

стояла цель для стрельбы, в середине которой вставлена даже бритва острием вперед. В гостиной, по одной из самых больших стен, на дорогом персидском ковре, развешаны шашки, винтовки, пистолеты, кинжалы, оправленные в золото и в серебро с чернью.

Имшин, как вошел, сейчас же оставил своих гостей, прошел в кабинет, переоделся там и возвратился в черкеске с патронами и галунами. В наряде этом он еще стал красивее. Между тем компаньонка осталась ходить по зале, а председательша вошла и села в гостиной. Когда она сняла салоп, то очень стало видно, что прелестное лицо ее истощено, а стан, напротив, полон. Имшин осмотрел ее, и во взгляде его отразилось беспокойство.

– Он ничего не замечает еще? – спросил он.

– Нет, – отвечала председательша. – Я нарочно заехала к тебе: научи меня, что мне делать.

Имшин пожал плечами. Склад красивого рта его принял какое-то кислое выражение.

– Что делать? – повторил он; но в это время в лакейской раздалось чье-то кашлянье.

Имшин проворно вышел туда. Там стояла

катавшаяся пожилая женщина с той же молодой девочкой.

– Ступайте туда, на нижнюю половину, – проговорил Имшин торопливо.

Старуха на это повернулась, отворила боковую дверь и вместе с девочкой стала спускаться по темной лестнице вниз.

Имшин снова возвратился к председательше.

– Делать одно самое лучшее, – заговорил он, – ехать тебе к отцу твоему или матери, остановиться вместо того в Москве; там есть женщины, у которых ты получишь приют.

– Прекрасно! – возразила председательша. – Но муж может спросить отца и мать, у них ли я.

– Неужели же они не сделают для тебя этого?

– Ни за что, особенно отец. Он скорее убьет меня, чем покроет подобную вещь. Я решила на одно: скрываться – это только тянуть время; в первый раз, как он обнаружит подозрение, я ему скажу все откровенно. Он меня, конечно, прогонит, и я тогда приду к тебе.

– Разумеется, приходи! – проговорил Им-

шин каким-то странным голосом и хотел, кажется, еще что-то прибавить, но в это время в лакейской опять послышался шум. Имшин вышел; там стоял гайдук в ливрее.

– Барин прислали за барыней; узнали, что она здесь, – проговорил он нахальным лакейским тоном.

Имшин немного изменился в лице.

– Муж за вами прислал! – сказал он, входя в гостиную.

Председательше в это время человек подавал чан, и взятая ею чашка сильно задрожала у ней в руке.

– Что ж? Ничего; я окажу, что озябла и заезжала к тебе. Я ему говорила, что была у тебя без него в гостях, – проговорила она притворно смелым голосом.

– Да, пожалуйста, как-нибудь без решительных объяснений.

– Не знаю, как уж выйдет.

Из залы вошла компаньонка.

– Николай говорит, что Петр Антипыч очень сердится и приказал, чтобы вы сейчас же ехали домой.

– Подождет, ничего! – отвечала председа-

тельша, однако сама встала и начала надевать шляпу.

– Ну, прощай! – проговорила она Имшину и, перегнув головку, поцеловала его. – До скорого, может быть, свидания, – прибавила она.

– Прощай!.. – отвечал Имшин и сам страстно поцеловал ее.

Свидетельница этой сцены, компаньонка, немного тупилась и краснела. Наконец, дамы уехали.

Имшин остался в заметном волнении. В поданный ему чай он подлил по крайней мере полстакана рому, скоро выпил и спросил себе еще чаю, подлил в него опять столько же рому и это выпил. Красивое лицо его вдруг стало принимать какое-то зверское выражение: глаза налились кровью, усы как-то ощетились. Он кликнул человека.

– Федоровна там? – спросил он лакея.

– Там.

– И с Машей?

– С Машей.

– Ступай на свое место!

Лакей ушел.

Имшин подошел к одному из шкафов, вы-

нул сначала из него пачку денег, потом из нижнего ящика несколько горстей конфет и положил их в карман. Подойдя к стене, он снял один из пистолетов и его тоже положил в карман и начал спускаться по знакомой уж нам темной лестнице. В комнатах не осталось никого.

В тусклом свете поставленных на столе двух свечей было что-то зловещее. Через час по крайней мере двери из низу с шумом отворились, и в комнату вбежал Имшин, бледный, растрепанный; глаза у него были налиты, как у тигра, кровью; рот искривился. Он подбежал опять к тому же шкафу, вынул из него еще пачку денег, огляделся каким-то боязливым и суевливым взглядом и снова спустился вниз по лестнице. Вслед за тем в сарае и в конюшне, в совершенной темноте, послышалось тихое, но торопливое закладывание лошади; вскоре после того со двора выехали сани и понеслись в сторону, где город уж кончался, на так называемое Прибрежное поле.

На другой день по городу разнесся довольно странный и любопытный слух, что молоденькая председательша бросила мужа и убе-

жала от него к Имшину на квартиру, мимо которой некоторые из любопытствующих нарочно даже проезжали и действительно видели в одном из окон хорошенькую головку председательши.

В мире так устроено, что когда один сановник заболевает, другой сановник приезжает навещать его: к нашему председателю приехал сам губернатор. Добродушный старик этот был в некоторой зависимости от председателя по тем любезностям, которые, по влиянию председателя, делал ему откуп. Говорим мы это не в обличение начальника губернии, а единственно затем, чтоб объяснить те отношения, в которых находились между собой эти два почтенные лица.

Председатель по наружности был мужчина ужасно похожий на осиноый кряж. В жизни своей он все сам себе приобрел: учился на медные деньги, перенес потом страшные служебные труды, страшное подличание перед начальством и, наконец, всем этим достиг достояния, почета и женился на самой хорошенькой девушке в губернии. Двух вещей только он никак не мог побороть, это —

своей хорошенькой жены, которая выезжала, танцевала, наряжалась, веселилась, плакала, сердилась совершенно безо всякого с его стороны разрешения. Другое обстоятельство, затруднявшее председателя, было то, что когда он стал занимать довольно видные места, то ему ужасно хотелось представить из себя, что он во всех случаях жизни своей поступает и говорит, как человек образованный.

Перед последним несчастьем он, проснувшись после обеда, спросил горничную, подававшую ему воду:

– Где барыня?

– Оне на катанье сначала были, а потом, я их видела, оне к Имшину проехали, – доложила та.

В горничной этой председатель еще и прежде находил для себя всегда некоторое утешение и развлечение во всем претерпенном от жены, и она еще с самого приезда объяснила ему, что у них часто-часто бывал без него Имшин.

– Ну, поди же пошли человека и скажи, чтобы она сейчас же, сию минуту ехала домой, – сказал он.

Горничная пошла и сказала лакею:

– Поди сейчас за барыней к Имшину, чтобы она ехала домой: барин очень сердится.

Когда председательша возвратилась, муж спросил ее:

– С какой стати вы поехали к Имшину?

– А с такой, что я люблю его, – отвечала безумная женщина.

Дорогой она еще больше рассердилась за то, что ее требуют от ее ангела Имшина к чурбану-мужу.

Председатель, как человек высокой практической мудрости, почти признавал необходимость, чтобы жена его изменила ему, и он только желал одного, чтобы это вышло, как выходит между образованными людьми.

– Вы любите? – повторил он более насмешливым, чем угрожающим голосом.

– Даже больше того: я беременна от него! – объявила Марья Николаевна.

Первым движением председателя было поколотить жену; но он удержался.

– В таком случае я засажу вас в вашей комнате и запру там! – проговорил он и взял в самом деле жену за руку, привел ее в комнату,

запер за ней дверь и ключ положил к себе в карман; но, придя в кабинет свой, рассудил, что уж, конечно, он поступает в этом случае, как самый необразованный человек: жен заперали только в старину!

Он пошел и опять отпер двери.

– Я вас выпускаю, но только из дому вы шагу не смеете делать, а Имшину велю отзывать – слышите!

– Я готова повиноваться во всем вашей воле, – проговорила притворно покорным голосом жена; но когда, на другой день, председатель уехал в свою палату, она сама надела на себя салоп, сапоги, сама отворила себе дверь, вышла, с полверсты по крайней мере своими хорошенькими ножками шла по глубокому сумету, наконец подкликнула извозчика и велела везти себя к Имшину.

Узнав о побеге жены, председатель до приезда губернатора решительно недоумевал, что ему делать.

– Что такое, скажите мне на милость? – говорил тот, еще входя.

Председатель придал мрачную мину своему лицу.

– Что, я теперь вызывать его на дуэль, что ли, должен? – больше спросил он, чем обнаружил собственное свое мнение.

– Ни, ни, ни! Ни, ни, ни! – воскликнул губернатор. – Во-первых, он – мальчишка, вы – человек пожилой; он – военный, вы – штатский. Это значит сместить собой общество!

Губернатор, родом из польских жидов, чувствовал какое-то органическое отвращение к дуэлям и вообще в этом случае хлопотал, чтобы все-таки во вверенном ему крае не произошло комеражу. Председатель с своей стороны хоть и считал губернатора за очень недалекого человека, но в понятия его, как понятия светского господина, верил.

– В этом случае самое лучшее – презрение! – продолжал губернатор. – Все мы – я, вы, Кузьма, Сидор – все мы рогоносцы.

Председатель, пожалуй, готов бы был на презрение; но дело в том, что в душе у него против Имшина и жены бушевала страшная злоба, которую ему как-нибудь да хотелось же на них выместить.

– И этот господин очень странный, – говорил губернатор, ветрено постукивая своей

саблей. – Сегодня... одна женщина... какая-то, должно быть, нищая... подала мне на него прошение... что он убил там ее дочь... девочку... четырнадцать лет... из пистолета, что ли, как-то застрелил.

– Девочку убил? – спросил председатель, и лицо его мгновенно просияло, как бы смазали его маслом.

– Убил!.. Я велел там следствие полицеймейстеру произвести.

– Этакое дела, я полагаю, нельзя так пропускать... Тут кровь вопиет на небо, – проговорил председатель чувствительным и в то же время внушающим губернатору голосом. Тот, кажется, несколько это понял.

– Я велел произвести самое строгое исследование, беспощадное!..

– Что он дворянин, так, пожалуй, откупится и отвертится! – продолжал подзадоривать губернатора председатель.

– Нет, у меня не отвертится, не бывает у меня этого! – петушился губернатор, и так как всегда чувствовал не совсем приятные ощущения, когда председатель, человек характера строгого, укорял его за слабость по службе,

потому поспешил сократить свой визит.

– Ну, а вы пока до свидания, поуспокойтесь немного, – говорил он, вставая и надевая перчатки.

– Я поуспокоюсь! – сказал председатель в самом деле совершенно покойным голосом.

Зимнее солнце светило в окна гостиной Имшина: его кавказское оружие ярко блестело своим серебром и золотом. На турецком диване, стоящем под этим оружием, сидел сам Имшин в шелковом, стеганом и выложенном позументом архалуке. Марья Николаевна лежала у него на плече своей хорошенькой головкой; худоба ее в лице и полнота в стане стали еще заметнее.

Вошел лакей.

– Солдаты из полиции к вам пришли! – сказал он барину.

Имшин заметно встревожился; он сейчас же встал и вышел. Председательша последовала за ним беспокойным взглядом.

В дверях из передней в залу стояли полицейский солдат и жандарм.

– Что вам надо? – спросил их строго Имшин.

– В часть вас, ваше благородие, взять велено! – отвечал полицейский солдат глупым голосом.

– Как, в часть? – переспросил Имшин, более уже обращаясь к жандарму.

– Приказано-с! – ответил тот.

– Ну, ступайте, я сейчас приеду, – сказал Имшин не совсем уверенным голосом.

– Я, ваше благородие, на запятки, теперь выходит, стану к вам, – начал полицейский солдат тем же своим голосом. – Пристав так и говорил: «Не отпускай, говорит, его от себя!..»

– Убирайся ты к черту с своим приставом! Пошел вон!.. – крикнул Имшин, наступая на солдата, и хотел его вытолкнуть за двери.

Тот стал упираться своим неуклюжим телом.

– Пошел и ты! – прибавил он жандарму. – На тебе рубль серебром, убирайтесь оба! Вот вам по рублю!

И он дал обоим солдатам по рублю.

Те ушли.

Имшин возвратился в гостиную; лицо его из бледного сделалось багровым.

– Что такое? – спрашивала председатель-

ша. – Тебя в часть? Зачем?

– Не знаю, черт их знает! – отвечал Имшин с невниманием и торопливо стал переменять архалук на сюртук.

– Лошадь живет запрягать! – крикнул он.

Председательша подавала ему шляпу, палку, бумажник, но он как будто бы и не видел ее и, не простясь даже с ней, пошел и сел в сани.

Солдаты, получившие по рублю, сошли только вниз, от подъезда не отходили, и, когда Имшин понесся на своем рысаке, жандарм поскакал на лошади за ним, а бедный полицейский солдат побежал было пешком, но своими кривыми ногами зацепился на тротуаре за столбик, полетел головою вниз, потом перевернулся рожею вверх и лежит.

Марья Николаевна, видевшая всю эту сцену, несмотря на то, что была сильно встревожена, не утерпела и улыбнулась. Она ждала Имшина час, два; наконец, и лошадь его возвратилась. Марья Николаевна сошла задним крыльцом, в одном платье, к кучеру и спросила:

– Где барин – а?

– В части остался.

– Когда же он приедет?

– Неизвестно-с, ничего не сказал.

Марья Николаевна постояла немного, потерла себе лоб, потом велела подать салоп.

– Вези меня туда, в часть! – сказала она, сядя в сани, когда кучер только что было хотел откладывать лошадь.

Кучер неохотно стал опять на облучок и стал неторопливо поворачивать.

– Скорей, пожалуйста! – воскликнула она.

В части, в первой же комнате, Марья Николаевна увидела знакомого ей полицейского солдата, приходившего к ним поутру. На этот раз он был уже не в своей военной броне, а просто сидел в рубахе и ел щи, которые распространяли около себя вкуснейший запах.

– Где Имшин, барин, за которым ты приходил? – спросила она его.

– В казamat, ваше благородие, посажен.

– За что?

– Не знаю, ваше благородие. Он тоже говорил: «Поесть, говорит, мне надо... Ступай в трактир, принеси!» Я говорю: «Ваше благородие, мне тоже далеко идти нельзя. Вон вах-

мистр, говорю, у нас щи тоже варит и студень теперь продает... Разе тут, говорю, взять... У нас тоже содержался барин, все его пищу ел». – «Ну, говорит, давай мне студеня одного».

– Пусты меня, проводи к нему!

– Нельзя, ваше благородие.

– Я тебе десять рублей дам!

– Помилуйте! Теперь квартальный господин скоро придет, невозможно-с!

– Ну, хоть записочку передай!

– Записочку давайте, ваше благородие. Он тоже просил было, чтобы водки... «Ваше благородие, хлещут, говорю, за это! Вот, бог даст, пообживетесь... Господин квартальный и сам, может, то позволит».

Выслушав солдата, Марья Николаевна и сама, кажется, не знала, что ей делать; в голове ее все перемешалось... Имшина отняли у нее... посадили в казamat... на студень... Что же это такое? Она села в сани и велела везти себя к мужу.

Председатель только что встал из-за стола и проходил в свой кабинет. Горничная едва успела вбежать к нему и сказать:

– Барыня наша приехала-с!

Председатель проворно сел в свои вольте-ровские кресла и принял несколько судейскую позу. Марья Николаевна вошла к мужу совершенно смело.

– Имшин посажен в часть, – начала она, – это ваши штучки, и, если вы хоть сколько-нибудь благородный человек, вы должны сказать, за что?

Председатель улыбнулся.

– Я вашего Имшина ни собственного желанья и никакого права по закону не имел сажать, – проговорил он.

– Кто ж его посадил?

– Это уж вы постарайтесь сами узнать: я этим предметом нисколько не интересуюсь.

– Его мог посадить один только губернатор. Я поеду к губернатору.

Председатель молчал, как молчат обыкновенно люди, когда желают показать, что решительно не принимают никакого участия в том, что им говорят.

– О, какие вы все гадкие! – воскликнула бедная женщина, всплеснув своими хорошенькими ручками, и, закрыв ими лицо свое,

пошла.

– Ваш гардероб, вы сами за ним пришлете или мне прикажете прислать его вам? – сказал ей вслед муж.

Марья Николаевна ничего ему на это не ответила.

Председатель остался совершенно доволен собой. Он сам очень хорошо понимал, и с этим, вероятно, согласится и читатель, что во всей этой сцене вел себя как самый образованный человек; он ни на одну ноту не возвысил голоса, а между тем каждое слово его дышало ядом.

Марья Николаевна между тем села в сани и велела себя везти к губернатору. Кучер было обернулся к ней:

– Лошадь, сударыня, очень устала! Барин после гневаться будет.

– Вези! – вскрикнула она, и в ее нежном голосе послышалось столько повелительности, что даже с полулошадиной натурой кучер немножко струсил и поехал.

Губернатор еще не кушал, когда она к нему приехала. Дежурный чиновник, увидев председательшу, бросился со всех ног докла-

дывать об ней губернатору. Тот, в свою очередь, тоже бросился к зеркалу причесываться: старый повеса в этом посещении ожидал кой-чего романического для себя.

– Pardon, madame...[26] Позвольте вам предложить кресла.

Марья Николаевна села.

– Говорят, вы посадили Имшина, – вы знаете мои отношения к этому человеку; скажите, за что он посажен?

– Не могу, madame!

– Почему ж не можете?

Губернатор был в странном положении – сказать даме о такой вещи, которая, по его понятию, должна была убить ее; он решился лучше успокоить ее:

– Сказать вам этого я не могу, тем более что все это, может быть, пустяки, которые пустяками и кончатся, а между тем нам всем очень дорого ваше спокойствие; мы вполне симпатизируем вашему положению, как женщины и как прелестнейшей дамы.

– Не знаю, что вы со мной все делаете! Ах, несчастная, несчастная я! – воскликнула председательша и пошла, шатаясь, из кабинета.

та.

Губернатор последовал за ней до самых са-ней с каким-то священным благоговением.

Дома она написала записку к Имшину:

«Я везде была и ни у кого ничего не узнала; напиши хоть ты, за что ты страдаешь, мучат тебя... Твоя».

На это она получила ответ:

«Все вздор, моя милая Машенька, проделки одних мерзавцев; посылаю тебе сто рублей на расход. Прикажи, чтобы хорошенько смотрели за лошадьми... Твой».

Никакое страстное письмо не могло бы так утешить бедную голубку, как эта холодная записка.

«Он спокоен; значит, в самом деле все вздор», – подумала она, покушала потом немножко и заснула.

К подъезду между тем подъехала ее компаньонка Эмилия, с огромным возом гардероба Марьи Николаевны. Со свойственным ее чухонскому темпераменту равнодушием, она принялась вещи выносить и расставлять их. Шум этот разбудил Марью Николаевну.

– Кто там? – окликнула она.

Эмилия вошла к ней.

– Платья ваши Петр Александрыч прислал и мне не приказал больше жить у них.

– Ну, и прекрасно; оставайся здесь у меня.

Эмилия в церемонной позе уселась на одном из стульев.

– Ты слышала, Александра Иваныча в часть посадили?

– Да-с!

– Скажи, что про это муж говорит или кто-нибудь у него говорил; ты, вероятно, слышала.

– Девочку, что ли, он убил как-то!

– Какую девочку, за что?

– Мещанка там одна, нищенки дочь.

Марья Николаевна побледнела.

– Да за что же и каким образом?

– Играл с ней и убил.

– Что такое, играл с ней?.. Ты дура какая-то... врешь что-то такое...

Эмилия обиделась.

– Ничего я не вру-с... все говорят.

– Как, не вру!.. Убил девочку – за что?

Эмилия некоторое время колебалась.

– На любовь его, говорят, не склонилась, –

проговорила она как бы больше в шутку и отворотила лицо свое в сторону.

Марья Николаевна взялась за голову и сделалась совсем как мертвая.

– В этот самый вечер это и случилось, как мы были у него с катанья, – продолжала Эмилия. – Мужики на другой день ехали в город с дровами и нашли девочку на подгородном поле зарытою в снег и привезли в часть, а матка девочки и приходит искать ее. Она два дня уж от нее пропала, и видит, что она застрелена...

– Почему же девочку эту застрелил Александр Иваныч?.. – спросила Марья Николаевна.

– Солдаты полицейские тут тоже рассказали: она, говорят, каталась на Имшиных лошадях со старухой, и прямо к нему они и проехали с катанья.

Молоденькое лицо Марьи Николаевны как бы в одну минуту возмужало лет на пять; полбу прошли две складки; милая улыбка превратилась в серьезную мину. Она встала и начала ходить по комнате.

– Мужчина может это сделать совершенно

не любя и любя другую женщину! – проговорила она насмешливым голосом и останавливаясь перед Эмилиею.

– Он, говорят, совершенно пьяный был, – подтвердила та. – Человека его также захватили, тот показывает: три бутылки одного рому он в тот вечер выпил.

– Каким же образом он ее убил?

Личико Марьи Николаевны при этом сделалось еще серьезнее.

– Сегодня полицеймейстер рассказывал Петру Александрычу, что Александр Иваныч говорит, что она сама шалила пистолетом и выстрелила в себя; а человек этот опять показывает – их врознь держат, не сводят, – что он ее стал пугать пистолетом, а когда она вырвалась и побежала от него, он и выстрелил ей вслед.

Дальнейшие ощущения моей героини я предоставляю читательницам самим судить.

У входа в домовую церковь тюремного замка стояли священник в теплой шапке и муфте и дьячок в калмыцком тулупе. Они дожидались, пока дежурный солдат отпирал дверь. Войдя в церковь, дьячок шаркнул

спичкой и стал зажигать свечи. Вслед же за ними вошла дама вся в черном. Это была наша председательша. Священник, как кажется, хорошо ее знал. Она подошла к нему под благословение.

– Холодно? – сказал он.

– Ужасно! Я вся дрожу, – отвечала она.

– Не на лошади?

– Нет, пешком... У меня нет лошади.

– А Александра Иваныча кони где? Все, видно, проданы и в одну яму пошли.

– Все в одну! – отвечала Марья Николаевна грустно-насмешливым голосом. – Но досаднее всего обман: каждый почти из них образ передо мной снимал и клялся: «Не знаем, говорят, что будет выше, а что в палате мы его оправдаем».

– Ну, да губернатора тоже поиспугались.

– Да что же губернатору-то?

– А губернатор супруга вашего побоялся: еще больше, говорят, за последнее время ему в лапки попал.

– Ну да, вот это так... но это вздор – это я разоблачу... – проговорила Марья Николаевна, и глаза ее разгорелись.

– На каторгу приговорили?

– На каторгу, на десять лет, и смотрите, сколько тут несправедливости: человек обвиняется или при собственном сознании, или при показании двух свидетелей; Александр Иваныч сам не сознается; говорит, что она шалила и застрелила себя, – а свидетели какие ж? Лакей и Федоровна! Они сами прикосновенны к делу. А если мать ее доносит, так она ничего не видала, и говорит все это она, разумеется, как женщина огорченная...

– В поле он мертвую-то свез... Зачем? Для чего?

– Прекрасно-с!.. Но ведь он человек: мог перепугаться; подозрение прямо могло пасть на него, тем более что от другой матери было уж на него прошение в этом роде, и он там помирился только как-то с нею – значит, просто растерялся, и, наконец, пьян был совершенно... Они вывезли в поле труп и не спрятали его хорошенько, а бросили около дороги – ну, за это и суди его как за нечаянный проступок, за неосторожность; но за это не каторга же!.. Судить надобно по законам, а не так, как нам хочется.

Любовь сделала бедную женщину даже юристкою.

– Это все я раскрою, – продолжала она все более и более с возрастающим жаром, – у меня дядя член государственного совета; я поеду по всем сенаторам, прямо им скажу, что я жена такого-то господина председателя, полюбила этого человека, убежала к нему, вот они и мстят ему – весь этот чиновничий собор ихний!

– Дай бог, дай бог!.. – произнес священник со вздохом. – Вас-то очень жаль...

– О себе, отец Василий, я уж и думать забыла; я тут все положила: и молодость и здоровье... У меня вон ребенок есть; и к тому, кажется, ничего не чувствую по милости этого ужасного дела...

Священник грустно и про себя улыбнулся, а потом, поклонившись Имшихе (так звали Марью Николаевну в остроге), ушел в алтарь.

Она отошла и стала на женскую половину. Богомольцев почти никого не было: две – три старушонки, какой-то оборванный чиновник, двое парней из соседней артели.

Дежурный солдат стал отпирать и с шу-

мом отодвигать ставни, закрывающие решетку, которая отделяла церковь от тюремных камер. Вскоре после того по дальним коридорам раздались шаги. Это шли арестанты к решетке. К левой стороне подошли женщины, а к правой мужчины. Молодцеватая фигура Имшина, в красной рубашке и бархатной поддевке, вырисовалась первая. Марья Николаевна, как устала на него глаза, так уж больше и не спускала их во всю службу. Он тоже беспрестанно взглядывал к ней и улыбался: в остроге он даже потолстел, или, по крайней мере, красивое лицо его как-то отекло.

Когда заутреня кончилась, Имшин первый повернулся и пошел. За ним последовали и другие арестанты. Марья Николаевна долго еще глядела им вслед и прислушивалась к шуму их шагов. Выйдя из церкви, она не пошла к выходу, а повернула в один из коридоров. Здесь она встретила мужчину с толстым брюхом, с красным носом и в вицмундире с красным воротником – это был смотритель замка. Марья Николаевна раскланялась с ним самым раболепным образом.

– Я прошу вас сказать Александру Иваны-

чу, – начала она заискивающим голосом, – что я сегодня выезжаю в Петербург; мне пишут оттуда, что через месяц будет доклад по его делу в сенате; ну, я недели две тоже проеду, а недели две надобно обходить всех, рассказать всем все...

Смотритель на все это только кивал с важностью головой.

– Тут вот я ему в узелочке икры принесла и груздей соленых – он любит соленое, – продолжала она прежним раболепным тоном, подавая смотрителю узелок.

– Пьянствует он только, сударыня, очень и буянит, – проговорил тот, принимая узелок. – Этта на прошлой неделе вышел в общую арестантскую, так двух арестантов избил; я уж хотел было доносить, ей-богу!

– Вы ему, главное дело, водки много не давайте, – совсем нельзя ему не пить – он привык, а скажите, что много нельзя; я не приказала: вредно ему это.

– Нет-с, какое вредно – здоров очень! – возразил простодушно смотритель, так что Марья Николаевна немножко даже покраснела.

– Так, пожалуйста, не давайте ему много

пить, – прибавила она еще раз и пошла.

На углу, на первом же повороте, на нее по-дул такой ветер, что она едва устояла; хоро-шенькие глазки ее от холода наполнились слезами, красивая ножка нетвердо ступала по замерзшему тротуару; но она все-таки шла, и уж, конечно, не физические силы ей помога-ли в этом случае, а нравственные.

19 мая 184... было довольно памятно для города П... В этот день красавца Имшина ли-шали прав состояния. Сама губернаторша и несколько дам выпросили в доме у головы позволение занять балкон, мимо которого должна была пройти процессия. В окнах всех прочих домов везде видны были головы жен-щин, детей и мужчин; на тротуарах валила целая масса народу, а с нижней части города, из-под горы, бежала еще целая толпа зевак.

На квартире прокурора, тоже находящейся на этой улице, сидели сам он – мужчина, как следует жрецу Фемиды, очень худоща-вый, и какой-то очень уж толстый помещик.

– Она при мне была у министра, – говорил тот, – так отчеканивает все дело...

Прокурор усмехнулся.

– У сенаторов, говорят, по несколько часов у подъезда дожидалась, чтобы только попросить.

– Любовь! – произнес прокурор, еще более усмехаясь.

– Но как хотите, – продолжал помещик, – просить женщине за отца, брата, мужа, но за любовника...

– Да... – произнес протяжно и многозначительно прокурор.

– Тем более, говорят, я не знаю этого хорошенько, но что он не застрелил девочку, а пристрелил ее потом.

– Да, в деле было этакое показание... – начал было прокурор, но в это время раздался барабанный стук. – Едут, – сказал он с каким-то удовольствием.

Из ворот тюремного замка действительно показалась черная колесница. Имшин сидел на лавочке в той же красной рубахе, плисовой поддевке и плисовых штанах. Лицо его, вследствие, вероятно, все-таки перенесенных душевных страданий, от окончательно решенной участи, опять значительно похудело и как бы осмыслилось и одухотворилось; на

груди его рисовалась черная дощечка с белой надписью: Убийца...

Из одного очень высокого дома, из окна упал к нему венок. Это была дама, которую он первую любил в П... С ней после того сейчас же сделалось дурно, и ее положили на диван. На краю колесницы, спустивши ноги, сидел палач, тоже в красной рубахе, синей суконной поддевке и больше с глупым, чем с зверским лицом.

В толпе народа, вместе с прочими, беспокойной походкой шла и Марья Николаевна; тело ее стало совершенно воздушное, и только одни глаза горели и не утратили, кажется, нисколько своей силы. Ей встретился один ее знакомый.

– Марья Николаевна, вы-то зачем здесь?.. Как вам не грех? Вы только растревожитесь.

– Нет, ничего! С ним, может быть, дурно там сделается!

– Да там есть и врачи и все... И отчего ж дурно с ним будет?

Дурно с преступником в самом деле не было. Приговор он выслушал с опущенными в землю глазами, и только когда палач перело-

мил над его головой шпагу и стал потом не совсем деликатно срывать с него платье и надевать арестантский кафтан, он только по-морщивался и делал насмешливую гримасу, а затем, не обращая уже больше никакого внимания, преспокойно уселся снова на лавочку. На обратном пути от колесницы все больше и больше стало отставать зрителей, и когда она стала приближаться к тюремному замку, то на тротуаре оставалась одна только Марья Николаевна.

– Я уж лошадь наняла, и как там тебя завтра или послезавтра вышлют, я и буду ехать за тобой! – проговорила она скороговоркой, подбегая к колеснице, когда та въезжала в ворота.

– Хорошо! – отвечал ей довольно равнодушным голосом Имшин.

Оставшись одна, Марья Николаевна стыдливо обдернула свое платье, из-под которого выставлялся совершенно худой ее башмак: ей некогда было, да, пожалуй, и не на что купить новых башмаков.

В теплый июльский вечер по большой дороге, между березок, шла партия арестантов.

Впереди, как водится, шли два солдата с ружьями, за ними два арестанта, скованные друг с другом руками, женщина, должно быть, ссыльная, только с котомкой через плечо, и Имшин. По самой же дороге ехала небольшая кибиточка, и в ней сидела Марья Николаевна с своим грудным ребенком. Дорога шла в гору. Марья Николаевна с чувством взглянула на Имшина, потом бережно положила с рук спящего ребенка на подушку и соскочила с телеги.

– Ты посмотри, чтобы он не упал, – сказала она ехавшему с ней кучером мужику.

– Посмотрю, не вывалится, – отвечал тот грубо.

Марья Николаевна подошла к арестантам.

– Ты позволь Александру Иванычу поехать: он устал, – сказала она старшему солдату.

– А если кто из бар наедет да донесут, – засудят!.. – отвечал тот.

– Если барин встретится, тот никогда не донесет – всякий поймет, что дворянину идти трудно.

– И они вон тоже ведь часто ябедничают! –

прибавил солдат, мотнув головой на других арестантов.

– И они не скажут. Ведь вы не скажете? – сказала Марья Николаевна, обращаясь ласковым голосом к арестантам.

– Что нам говорить, пускай едет! – отвечали мужчины в один голос, а ссыльная баба только улыбнулась при этом.

Имшин ловко перескочил небольшую канавку, отделяющую березки от дороги, подошел к повозке и сел в нее; цепи его при этом сильно зазвенели.

Марья Николаевна проворно и не совсем осторожно взяла ребенка себе на руки, чтобы освободить подушку Имшину, он тотчас же улегся на нее, отвернулся головой к стене кибитки и заснул. Малютка между тем расплакался. Марья Николаевна принялась его укачивать и стращать, чтобы он замолчал и не разбудил отца.

Когда совсем начало темнеть, Имшин проснулся и зевнул.

– Маша, милая, спроси у солдата, есть ли на этапе водка?

– Сейчас; на, поддержи ребенка, – прибави-

ла она и, подав Имшину дитя, пошла к солдату.

– На этапе мы найдем Александру Иванычу водки? – спросила она.

– Нет, барыня, не найдем; коли так, так здесь надо взять; вон кабак-то, – сказал солдат.

Партия в это время проходила довольно большим селом.

– Ну, так на вот, сходи!

– Нам, барыня, нельзя; сама сходи.

– Ну, я сама схожу, – сказала Марья Николаевна весело и в самом деле вошла в кабак. Через несколько минут она вышла. Целовальник нес за ней полштофа.

– Что за глупости – так мало... каждый раз останавливаться и брать... дай полведра! – крикнул Имшин целовальнику.

Марья Николаевна немножко изменилась в лице.

Целовальник вынес полведра, и вместе с Имшиным они бережно утащили его в передок повозки.

– Зачем ты сама ходила в кабак? Разве не могла послать этого скота? – сказал довольно

грубо Имшин Марье Николаевне, показывая головой на кучера.

– А я и забыла об нем совершенно, не сообразила!.. – отвечала она кротко.

Печаль слишком видна была на ее лице.

Этап находился в сарае, нанятом у одного богатого мужика.

– В этапе вам, барыня, нельзя ночевать; мы запираемся тоже... – сказал Марье Николаевне солдат, когда они подошли к этапному дому. – Тут, у мужичка, изба почесть подле самого сарая: попроситесь у него.

Марья Николаевна попросилась у мужика, тот ее пустил.

– Там барин один идет, дворянин, так чтобы поесть ему! – сказала она хозяину.

– Отнесут; солдаты уж знают, говорили моей хозяйке.

Марья Николаевна, сама уставшая донельзя, уложила ребенка на подушку, легла около него и начала дремать, как вдруг ей послышалось, что в сарае все более и более усиливается говор, наконец раздается пение, потом опять говор, как бы вроде брани; через несколько времени двери избы растворились,

и вошел один из солдат.

– Барыня, сделайте милость, уймите вашего барина!

– Что такое? – спросила Марья Николаевна, с беспокойством вставая.

– Помилуйте, с Танькой все балует... Она, проклятая, понесет теперь и покажет, что на здешнем этапе, – что тогда будет?

Марья Николаевна, кажется, не расслышала или не поняла последних слов солдата и пошла за ним. Там ей представилась странная сцена: сарай был освещен весьма слабо ночником. На соломе, облокотившись на деревянный обрубок, полулежал Имшин, совсем пьяный, а около него лежала, обнявши его, арестантка-баба.

Марья Николаевна прямо подошла к ней.

– Как ты смеешь, мерзавка, быть тут? Солдаты, оттащите ее! – прибавила она повелительным голосом.

Солдаты повиновались ей и оттащили бабу в сторону.

– А ты такая же, как и я – да! – бормотала та.

– И вы извольте спать сию же минуту, –

прибавила она тем же повелительным голосом Имшину; лицо ее горело при этом, ноздри раздувались, большая артерия на шейке заметно билась. – Сию же секунду! – прибавила она и начала своею слабою ручкою теревить его за плечо, как бы затем, чтобы сделать ему больно.

– Поди, отвяжись! Навязалась! – проговорил он пьяным голосом.

– Я вам навязалась, я? – говорила Марья Николаевна – терпения ее уж больше не хватало. – Низкий вы, подлый человек после этого!

– Я бью по роже, кто мне так говорит, – воскликнул Имшин и толкнул бедную женщину в грудь.

Марья Николаевна хоть бы бровью в эту минуту пошевелила.

– Ничего; теперь все уж кончено. Я вас больше не люблю, а презираю, – проговорила она, вышла из этапа и в своей повозочке уехала обратно в город.

История моя кончена. Имшина, как рассказывали впоследствии, там уж в Сибири сами товарищи-арестанты, за его буйный характер,

бросили живым в саловаренный котел. Марья же Николаевна... но я был бы сочинителем самых лживых повестей, если б сказал, что она умерла от своей несчастной любви; напротив, натура ее была гораздо лучшего закалу: она даже полюбила впоследствии другого человека, гораздо более достойного, и полюбила с тем же пылом страсти.

– Господи, что мне нравилось в этом Имшине, – решительно не знаю!.. – часто восклицала она.

– Стало быть, и героиня ваша лгунья? – заметят мне, может быть, читательницы.

Когда она любила, она не лгала, и ей честь делает, что не скрывала потом и того презрения, которое питала к тому же человеку. За будущее никто не может поручиться: смеем вас заверить, что сам пламенный Ромео покраснел бы до конца ушей своих или взбесился бы донельзя, если бы ему напомнили, буква в букву, те слова, которые он расточал своей божественной Юлии, стоя перед ее балконом, особенно если бы жестокие родители не разлучили их, а женили!

Примечания «Русские лгуны»

Впервые напечатаны в «Отечественных записках» за 1865 год (№№ 1, 2, 4, январь, февраль, апрель).

Работа над рассказами данного цикла начата в 1864 году. Первоначальный замысел «Русских лгунов» был изложен Писемским издателю «Отечественных записок» А.Краевскому в письме от 25 августа 1864 года: «...пишутся у меня очерки под названием „Русские лгуны“ – выведен будет целый ряд типов вроде снобсов Теккерея. Теперь окончена мною первая серия: Невинные вралы – то есть которые лгали насчет охоты, силы, близости к царской фамилии, насчет чудес, испытываемых ими во время путешествий; далее будут: Сентименталы и сентименталки, порожденные Карамзиным и Жуковским. Далее: Марлинщина. Далее: Байронисты росейские. Далее: Тонкие эстетика. Далее: Народолюбы. Далее: Герценисты и в заключение: Катковисты...

Теперь у меня написано листа на два пе-

чатных, а печатать я желал бы начать с января. Уведомьте пригоден вам этот труд мой или нет; если не пригоден, не стесняйтесь и пишите прямо».[27]

На основании этого высказывания можно судить, что Писемский рассматривал «Русских лгунов» как продолжение начатой «Фанфароном» серии рассказов под общим заглавием «Наши снобсы». Об этом свидетельствует также и то, что в «Русских лгунах» (рассказы «Сентименталы» и «История о петухе») снова появляется образ кокинского исправника Ивана Семеновича Шамаева, который фигурировал и в «Фанфароне».

В задуманном цикле рассказов «Русские лгуны» писатель намеревался направить удары как против сторонников «чистого» искусства и катковистов – самых крайних реакционеров того времени, – так и против революционеров – сторонников Чернышевского и Герцена. 21 сентября 1864 года Писемский сообщил Краевскому о завершении первой серии «Русских лгунов»: «Вместе с этим письмом я высылаю Вам 1-ю серию „Лгунов“ – это пока все еще невинные врали – дальнейшую

программу я писал уже Вам. Всех очерков, я полагаю, хватит листов на 7 или на 8 печатных... Следующую серию я непременно надеюсь изготовить к генварю и много к февралю».[28]

Однако первоначальный замысел «Русских лгунов» в процессе его осуществления скоро изменился. Уже к январю 1865 года Писемский, по-видимому, отказался от намерения выполнить полностью тот план, который он изложил в письме к Краевскому от 25 августа 1864 года. 24 января 1865 года, посылая Краевскому рассказы из второй серии «Русских лгунов», Писемский сообщал: «...ко 2 февр. или 1 мартовской (книжке. – М.Е.) я Вам вышлю еще два рассказа; один будет называться: „Лживой красавец“ (первоначальное заглавие рассказа „Красавец“. – М.Е.); опишется мужчина, у которого уже тело лжет: он прелестной наружности, но подлец душой; и второй – называемой: „Все лгут“, где опишется, что все лгут, чиновники, артисты, хозяева, барышни, и никто того не замечает» [29]. Рассказ «Все лгут», который, как показывает уже и само его название, должен был, ве-

роятно, иметь итоговый характер, не был написан, и предшествовавший ему «Красавец» оказался последним рассказом цикла.

Таким образом, было написано только восемь рассказов, охватывающих лишь первые три серии изложенного в письме к Краевскому плана: 1. «Невинные врали» – рассказы «Конкурент», «Богатые лгуны и бедный», «Кавалер ордена Пур-ле-мерит», «Друг царствующего дома» и «Блестящий лгун»; 2. «Сентименталы и сентименталки» – рассказ «Сентименталы»; 3. «Марлинщина» – рассказ «Красавец». Рассказ «История о петухе», включенный Писемским во вторую серию «Русских лгунов», был напечатан в журнале после «Сентименталов», хотя в герое «Истории о петухе» едва ли можно отыскать какие-либо признаки сентиментальности.

Основной причиной изменения первоначального плана «Русских лгунов» были цензурные препятствия. Уже при посылке первой серии рассказов Писемский высказал опасение насчет цензуры. «С цензурой, бога ради, употребите все усилия, – писал он Краевскому. – Если она будет ставить препят-

ствия в рассказах о кавалере ордена Пур-ле-мерит и о друге царствующего дома, то объясните им, что если эти люди хвастаются своею близостью к царям, то это показывает только любовь народную, – в предисловии у меня прямо сказано, что лгуны стараются обыкновенно приписать себе то, что и в самом общественном мнении считается за лучшее, а если очень станут упираться, то, не давая им марасть, напишите мне, что их особенно устрашает».[30]

Опасения Писемского оправдались: цензор запретил два рассказа: «Кавалер ордена Пур-ле-мерит» и «Друг царствующего дома». Получив от Краевского сообщение об этом, Писемский настаивал на том, чтобы хлопоты о разрешении по крайней мере одного из этих рассказов не прекращались. С этой целью он даже советовал обратиться за содействием к фаворитке министра двора – Мине Бурковой. «Думал я, думал, – писал он Краевскому 24 октября 1864 года, – по получении Вашего письма, и вот что придумал: к министру двора вы пошлите только один рассказ. „Друг царствующего дома“ и уж хлопочите, бога ради, что-

бы его пропустили – этот рассказ может быть напечатан: в нем тронута все так легко. Нельзя (ли) попросить покровительства в этом случае Мины. Мне как-то в Петербурге говорили, что она благоволит ко мне, как к автору. „Кавалер ордена Пур-ле-мерит“, вероятно, никак не пропустят, а потому я переделаю, вероятно, недолго и к вам вышлю».[31]

«Друг царствующего дома» был послан министру двора под измененным заглавием: «Старуха Исаева». Не надеясь на то, что министр двора разрешит этот рассказ, Писемский советовал Краевскому напечатать его без цензуры: «Есть нынче правило... что редакция, если цензор чего не пропускает, печатает с личной своей ответственностью и штрафу за это подвергается 50 руб. сер. Ваши „Отеч. Записки“, вероятно, еще ни разу не подпадали штрафу этому, а потому, если старуху Исаеву Адлерберг не пропускает (благо его, говорят, снимают), то печатайте без цензуры, я эти 50 руб. плачу из собственного кармана. Как вы об этом думаете, уведомьте меня, пожалуйста, не поленитесь и черкните, меня это очень беспокоит»[32]. В конце нояб-

ря 1864 года председатель С. – Петербургского цензурного комитета М.Н.Турунов получил решение министерства двора: «Вследствие отношения Вашего превосходительства от 19-го сего ноября за № 838 имею честь Вас, милостивый государь, уведомить, что препровожденная при оном и у сего возвращаемая статья под заглавием „Русские лгуны“ была представлена господину министру императорского двора, и его сиятельство изволил отозваться, что он полагал бы отклонить напечатание означенной статьи, так как некоторые из приведенных в ней случаев относятся к высочайшим особам, а между тем рассказ, как и самое заглавие свидетельствует, заключает в себе лишь грубый вымысел и вообще не имеет никакого интереса».[33]

Сохранилась и раздраженная резолюция министра Адлерберга: «Не понимаю, с какой стати эта статья посылается на мой просмотр... Если рассказ о лжи Исаевой не выдумка, то этот рассказ вовсе не интересен; если же это выдумка, то надобно признаться, что выдумка чрезвычайно глупа».[34]

Краевский отказался напечатать рассказ

«Друг царствующего дома» в его первоначальном виде без цензурного разрешения. Писемский вынужден был радикально переделать его. «Письмо ваше крепко поогорчило меня, – жаловался он Краевскому, – тем более что оно застало меня после тяжелой болезни: был болен жабой и чуть не умер. Старуху Исаеву на будущей неделе, то есть числу к 15, я переделаю, она выйдет не менее забавна...» [35]. 9 декабря 1864 года новый вариант рассказа был послан Краевскому. Этот вариант под заглавием «Фантазерка» и был опубликован в «Отечественных записках». В четвертом томе сочинений Писемского, изданных Стелловским, был опубликован журнальный текст этого рассказа, поскольку, по-видимому, цензурный запрет сохранял еще свою силу.

Таким образом, рассказы «Кавалер ордена Пур-ле-мерит» и «Друг царствующего дома» при жизни Писемского печатались в переработанном под давлением цензуры виде и поэтому не отражали подлинных замыслов автора. Только в первом посмертном собрании сочинений Писемского, изданном М.О.Вольфом, эти рассказы были напечатаны в их пер-

воначальном, доцензурном виде (т. V, СПб., 1884).

В настоящем издании «Кавалер ордена Пур-ле-мерит» и «Друг царствующего дома» печатаются по тексту первого посмертного собрания сочинений. Подцензурные варианты этих рассказов ввиду их самостоятельной художественной ценности ниже приводятся полностью. Остальные рассказы печатаются по тексту издания Ф.Стелловского, СПб., 1861.

Примечания

Повесть «Брак по страсти». (Прим. автора.).

[^^^]

2

Пур-ле-мерит – за заслуги (франц.).

[^^^]

3

Женерозного – благородного (франц.).

[^^^]

4

Читали ли вы Шатобриана? (франц.).

[^^^]

5

Мой муж еще не был в магазине Готье
(франц.).

[^^^]

Дорогой друг (франц.).

[^^^]

«Метаморфозы» Овидия (франц.).

[^^^]

8

Говорят... извините... говорят, что вы были женаты на маленькой негритянке (франц.).

[^^^]

Но говорят, что у вас был ребенок от этой женщины? (франц.).

[^^^]

10

Сударь... скажите, какого цвета был ваш ребенок? (франц.).

[^^^]

Кофе с молоком! (франц.).

[^^^]

Вигель Филипп Филиппович (1786—1856) — чиновник, автор известных «Воспоминаний», в которых подробно описывался быт дворянского общества первой четверти XIX века.

[^^^]

Малек-Адель – герой одного из романов французской писательницы Мари Коттен (1770—1807).

[^^^]

ажурные (франц.).

[^^^]

Кстати (франц.).

[^^^]

Супе фруа – холодный ужин (франц.).

[^^^]

Но, мой дорогой! (франц.).

[^^^]

Он... я не знаю точно... (франц.).

[^^^]

еще одно слово... все говорят, что я ее любов-
ник... (франц.).

[^^^]

Но это неправда (франц.).

[^^^]

Прощайте, дорогой друг (франц.).

[^^^]

Рассказ «Леший». (Прим. автора.).

[^^^]

Леотар Жюль – французский акробат, гастролировавший в Петербурге в 1861 году.

[^^^]

Войдите! (франц.).

[^^^]

Давалагири – одна из высочайших горных вершин на Гималаях.

[^^^]

Извините, сударыня... (франц.).

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма. М. – Л. 1936, стр. 170.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма. М. – Л. 1936,
стр. 174—175.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма. М. – Л. 1936, стр. 181.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма. М. – Л. 1936, стр. 174.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма. М. – Л. 1936, стр. 175.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма. М. – Л. 1936, стр. 178.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма. М. – Л. 1936, стр. 657.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма. М. – Л. 1936, стр. 657.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма. М. – Л. 1936, стр. 179.

[^^^]